ВАЛЕРИЙ ДАШЕВСКИЙ

ГОРОД НА ЗАРЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В сборник «Город на заре» входят рассказы разных лет, разные тематически, стилистически; если на первый взгляд что-то и объединяет их, так это впечатляющее мастерство! Валерий Дашевский — это старая школа, причем, не американского «черного романа» или латиноамериканской литературы, а, скорее, стилистики наших переводчиков. Большинство рассказов могли бы украсить любую антологию, в лучших Дашевский достигает фолкнеровских вершин. Его восприятие жизни и отношение к искусству чрезвычайно интересны; его истоки в судьбах поэтов «золотого века» (Пушкин, Грибоедов, Бестужев-Марлинский), в дендизме, в цельности и стойкости, они — ось, вокруг которой вращается его вселенная, пространства, населенные людьми..

Валерий Дашевский печатается в США и Израиле. Время ответит, станет ли он классиком, но перед вами, несомненно, мастер современной прозы, пишущий на русском языке.

- Валерий Дашевский
  - ○
  - ○ Город на заре
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III
    - ■ IV
    - ■ V
    - ■ VI
    - ■ VII
  - ○ Составитель примечаний
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III
  - ○ Небо
  - ○ У самых ворот
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III
    - ■ IV
  - ○ Свидание
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III

        - IV
        - V
        - VI
        - VII
    - Самозащита
    - Коридор
        - I
        - II
    - Гений
    - История российской администрации
    - Адвокат дьявола
    - Об авторе
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119

- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142

Валерий Дашевский
Город на заре и другие рассказы

Книга выпущена благодаря помощи и содействию центра абсорбции новых репатриантов деятелей искусства и деятелей искусства вернувшихся из-за рубежа.

משרד העלייה והקליטה

בסיוע מרכז לקליטת אמנים עולים ותושבים חוזרים

Министерство абсорбции Израиля Центр абсорбции новых репатриантов деятелей искусства и деятелей искусства вернувшихся из-за рубежа.

Город на заре

I

Гора строительного мусора — битого кирпича пополам с обломками бетонных перекрытий внутри полуобрушенного остова старинного четырехэтажного здания с эркерами, французскими балконами и выгоревшими узкими окнами, была именно такой, какую искал Розенберг — высилась под торчавшими из стен балками, точно на дне колодца, и восходящая пустота над ней полнилась сиянием утреннего солнца, бившего в проемы окон. Велев рабочему ждать, Розенберг или Роза, как называли его в этом городе тридцать и даже сорок лет назад, осторожно поднялся на самый верх. Там он постоял, озираясь в клубившейся солнечной пыли — высокий мужчина в темных очках и легком плаще, уместном в это холодное лето. Все было так, как пожелал Фрей: модель — человек с собакой — должна была идти, оступаясь, по этим камням навстречу заре. Розенберг пошел назад, стараясь не вдыхать запахи гари и нечистот, преследовавшие его после Боснии, — Поехали, — сказал он, сильно заикаясь, рабочему, — Тут снимать запрещено, нужно разрешение — здание аварийное. Охраняется милицией, — Отнеси им двести долларов, — сказал Розенберг. Он вытащил бумажник, дал деньги рабочему, прошел за ограждения и сел в машину. Он не был в городе лет пятнадцать, с тех пор, как похоронил отца, и теперь разглядывал сквозь ветровое стекло полуразрушенные исторические здания, убогие вывески одноэтажных магазинов, высившуюся впереди башню собора (путь от вокзала в город, проделанный им сотни раз), и думал, что Фрей был прав: умиравший столько, сколько он помнил себя, город превращался в развалины, в гибнущий мир, из которого жизнь упорно не желала уходить. Для съемок нужны были нежилая квартира с высокими потолками, дверьми с разбитыми косяками, чугунной ванной у стены в большой комнате (так было в постановочном плане), подъезд с широкими лестничными маршами и подоконником у высокого окна в узкий двор (в таком доме на Рымарской вырос Розенберг); фотограф на пробы, студийный свет, аккумуляторы, визажист и модели — мужчина и четыре женщины возрастом за пятьдесят, которых Фрей намеревался снять в серии для Венецианского бьеннале иначе, чем Олаф,[1] о котором он рассказал Розенбергу — не старухами от bourgeois bohemian[2] в корсетах и в белье от Calvin Klein, а старящимися любовницами, живущими в развалинах прошлого. Так было написано в синопсисе[3] и так Фрей объяснил Розенбергу, с легким раздражением глядя на его приоткрытый

рот и не будучи уверен вполне, что здоровенный, с виду медлительный, Розенберг точно понимает, что от него требуется. Под конец он сунул Розенбергу журнал с «Mature» и несколько фотографий Лобанова.[4] Это было не единственным поручением. Розенберг должен был повидать Ходоса,[5] главу городской еврейской общины, передать ему письмо некоего Хильштейна и привести ответ. Розенберг часто выполнял поручения людей, которых не видел в глаза, но исправно плативших деньгами или покровительством ему, рослому сильному мужчине, в котором, не смотря на возраст, было что-то мальчишеское — приоткрытый рот, вопросительно-выжидательное выражение синих глаз на костистом, веснущатом лице — не вязавшееся со слухами о его занятиях: рэкетир и, как поговаривали, наемник, а теперь совладелец крошечного магазина, почти лавчонки в Хайфе, просиживавший перед ней дни, покачиваясь на стуле и провожая глазами женщин — загорелый, в шортах и кожаных сандалиях на босу ногу, точно зажиточный французский еврей из тех, кто в последние годы наводнили город. Он прожил в Израиле больше десяти лет, последние пять — с маникюрщицей марокканкой, некогда изящной, точно эбеновая статуэтка, а теперь располневшей и говорливой, равнодушный к ее стряпне, ярким платьям и тяжелым украшениям, толком не посмотрев страну, ни разу не войдя в синагогу. Радио и израильских газет (он кое-как выучился читать на иврите) ему было достаточно. Когда Фрей предложил ему работу, он рассудил, что охранять съемки и развозить девчонок лучше, чем торчать у магазина или на море. Он жил день за днем, не вспоминая прошлое, думая о нем не больше, чем о будущем — днями, исполненными праздности, почти не отличавшимися друг от друга — утренний шум мусоровоза, фонарь, горевший в светлевшем небе, полосатые отсветы на стене, на женском теле в постели, днем — неколебимый зной, нисходивший с синего неба на утопавшие в тропической зелени дома; вечерами — телевизор, виски, к которому он здесь пристрастился, шумные вылазки в Тель-Авив или в рестораны на набережной, изредка — партийные съезды, реже — свидания в глубине крошечных кофеин или в закоулках рынков с обросшими людьми в кипах или шляпах по шестьсот долларов, в взопревших грязных майках или рубахах, расхристанных по жаре.

Прошлое было тем, от чего он уходил, когда наступало время или место исчерпывало себя, будто расписавшись в том, что жизнь снова не оправдала надежд, не стоила затраченных усилий.

Пятьдесят лет назад, в кровь избитым мальчишкой он позвонил в дверь известного боксера, жившего неподалеку, а

когда тот открыл, выдавил: «Я пришел, чтоб стать похожим на вас!» Эта пламенная искренность и святая вера в кулачную отвагу, как в способ одолеть жизнь в рабочем городе с тяжелым укладом, в котором долговязому еврейскому парнишке было лучше не уметь читать, чем драться, открыли ему двери в большой бокс. Розенберг не преуспел в нем; но в последующие двадцать лет ринг стал его жизнью, а зал в полуподвальном помещении, хоральной синагоги, ныне возвращенной городу — его alma mater. Он возлюбил этот мирок всей душой, больше дома, больше города, переставшего существовать вне стен, на которых крепились пневматические груши и зеркала; ему он отдавал всего себя — запахам канифоли и пота, дроби и рокоту снарядов под забинтованными кулаками, боям и боли, которую он научился принимать так, чтобы тут же забывать о ней. Он понял, что пора уходить, дважды проиграв нокаутами, не поколебавшими, впрочем, его духа, не поднявшись выше чемпиона Кубка Союза, республики и двух универсиад. «А, Роза! Привет, Роза! Как поживаешь, Роза?» — первые годы вне зала его хлопали по плечу и отходили, когда он силился ответить; потом он осознал силу молчания, так же, как позднее — страшную силу своих кулаков в жесточайшей уличной драке — молчания, действовавшего сильней криков, угроз и доказательств. Именно эти качества — терпение и молчание — предопределили его судьбу в не меньшей степени, чем стойкость и способность без рассуждений принимать все, как есть, жить, как живется, пока жизнь давала такую возможность.

А потом мать умерла, промучившись полтора года.

Он продал машину и истратил на врачей, лекарства, фрукты и икру все, что заработал в фотопромысле, с цеховиками, выколачиванием долгов, не веря, что мать не спасти, слыша и не слушая ее свистящий шепот: — Леня, мальчик мой золотой, я прошу тебя, не надо этого ничего… ты же все понимаешь… Ну, зачем ты это делаешь, Ленечка?.. — После ее похорон он заперся в квартире, которую снимал на Павловом Поле, и напился до потери сознания, не прежде, чем разбил о стену и разнес в щепы все, что попалось под руку; сутки спустя он очнулся на цементном полу в вытрезвителе. А потом, точно продолжая трезветь, продрогший до костей, с чашкой дымящегося кофе, в застекленном летнем кафе посреди зимнего парка, он вдруг иначе увидел, осознал происходившее в городе в те последние месяцы, когда уходила мать — как если бы до него заново дошли все эти разговоры о выезде, сборах и проводах, словно не Акеры, Ицковы, Векслеры, Паланты, Вассерманы, Кривицкие, Плахты, Буховеры, Бухбиндеры — врачи, парикмахерши, профессора,

инженеры, педагоги, преподаватели музыки, как его мать, ресторанные музыканты, мясники, ремесленники, тачавшие подметки и ключи, заправщики шариковых ручек на Пушкинской, а половина города, триста лет обустраивавшегося вокруг перепутий к морю и на Юг, в один прекрасный день снялась с места. Вначале он воспринял это, как отступничество, потому, что к матери приходили немногие из тех, кто, по его разумению, должен был быть у ее постели; немногие пришли и на кладбище; шел снег, и Ларочка Штерн, любимая ученица матери, плакала у него на плече. В ту зиму он раз за разом простаивал на платформе номер один положенные сорок минут, пока не отходил московский поезд в двадцать один пятнадцать — чуть в стороне от провожавших, в ратиновом пальто и ондатровой шапке — униформе центровых, больше не осуждавший выезд как трусость — как отречение от права считать домом место, в котором рожден, пусть право было ничем, принципом, от которого, тем не менее, не следовало отрекаться, как не следовало отдавать просто так нечто ценнее жизни, — не от того, что смерть матери примирила его с общей судьбой, а потому, что просил отец — помогал загрузить вещи в закупленные купе и говорил несколько слов от семьи, как того требовали приличия. Такими память помнила те годы: светящимися окнами вокзала, ящиками и чемоданами на снегу, толпящимися на платформе людьми — вот к чему, к бурным сценами расставаний, к темени, в которую уходили поезда, вернули Розенберга несколько часов полета. Тогда же он познакомил свою девушку с приятелем, сыном футбольного тренера, получившим разрешение на выезд в США, будучи убежден, что так лучше для нее и зная, что с ним ее не ждет ничего хорошего: — Ты уедешь с Сашей. Там вы будете счастливы, Аня! — Нет. И не подумаю. Нет, слышишь! С какой стати? Я хочу быть с тобой! — Говорю тебе, так будет лучше. Это решено, — Кем это решено, тобой, Леня Розенберг? — Точно. Мной. И я говорю тебе: ты уедешь с ним. Ясно? — Он просидел у них на свадьбе в ресторане весь вечер, не показав вида, что знаком с ней, только к поезду пришел с охапкой роз и стоял, втянув голову в плечи, пока не осел грохот за умчавшимися в ночь вагонами. Весть о том, что они обосновались в Филадельфии, что там она Анна Суркис, от фамилии мужа и у них сын, догнала его в Западной Сибири спустя два года. Он с головой ушел в дела, работая на людей, для которых в «Интуристе» держали накрытыми столы и в чьих подпольных мастерских на окраинах шили из шубного меха-лоскута шапки вместо шуб, детские с оторочкой куртки — из болоньевой ткани, предназначенной для мужских плащей, сопровождал машины с

товаром на рынки и ярмарки и пока с них шла торговля, курил с шоферами или играл по мелочи с местными, державшими рынок, в рюмочной или шашлътчиой неподалеку, чтобы машины были на виду. Его могли видеть в третьеразрядных гостиницах Урала, Сибири, Казахстана, в которых он снимал этажи для себя, бригадиров и бригад, и где, неделями валяясь в номере, принимал работу и составлял реестры на любительские, поломанные, затертые, надорванные, полузасвеченные и даже вклеенные в документы фотографии или выдавал, сверяясь с теми же реестрами, раскрашенные анилиновыми красителями, задутые лаком для волос, закатанные в целлофан портреты и семейные фото в паспарту, пересчитывая и пакуя деньги, что текли рекой, бескрайней и неизбывной как жажда жителей деревень, фабричных и заводских поселков, общежитий, запечатлеть и приукрасить то, что становилось единственной значимостью прожитой ими жизни; в спальных вагонах поездов, одного в купе (распухшие от денег сумки под нижними полками) готового отбиться от уголовников, выслеживавших таких, как он; облокотившимся о дверцу автомобиля в предрассветной серой мороси, во главе каравана из десятка машин, дожидавшихся сигнала с поста ГАИ, чтобы ввести в город сухую колбасу, икру, красную рыбу, арабский кофе, индийский чай, виски, сигареты Salem — все, чем южане затоваривались в валютных магазинах Москвы; или душной июльской ночью, на поляне за загородным кабаком, в компании таких же мужчин, по пояс освещенных фарами, у открытых багажников, набитых газетными свертками с деньгами, которые предстояло делить по уговору.

В городе он старался бывать пореже, оставляя отцу деньги и одаривая соседей. У отца, за которым присматривала Ларочка, он держал дубленку, плащ из турецкой лайки, кожаные куртки, сапоги, туфли, перстни, бостоновые и твидовые костюмы, батистовые рубашки, в которых засиживался за полночь в «Центральном», «Интуристе», «Театральном», за бархатными шторами «Люкса», за столами Сеганевича, Бори Рабиновича, Хана, расстрелянного пять лет спустя. Как-то он сказал отцу, что не будет приезжать какое-то время.

— Все будет, как прежде, — сказал он. — Обо мне не беспокойся. Я буду в Москве, в ночи пути. Напишу телефон, запомнишь. И вот что еще: Лара. Купи ей хорошую шубу и две пары сапог. Вот деньги. Тут хватит.

— Почему ты не подаришь ей сам?

— Ты знаешь, почему. У меня она не возьмет.

— Она приходит сюда из-за тебя, Леня, — сказал отец. — Она…

— Пусть, — сказал он, — и что теперь? Что она знает обо мне, папа? Кто я, что я умею, по-твоему? Бить людей и загонять их в работу? Подойдешь с ней в Комиссионторг, к директору, Маре Борисовне. Скажешь — от меня. Вам все выберут.

— Ты знаешь, как была бы счастлива, мама, если бы ты и Лара…

— Ну, хватит, — сказал он. — Извинись, что не сумел с ней проститься.

Через полгода, он нашел работу в Москве, по случаю, до полусмерти избив в одном из ночных заведений компанию из восьми мужчин, предварительно уложив вышибалу и бармена. Владельцы наблюдали за происходящим сквозь тонированные окна кабинета на втором этаже.

— Кто он такой, черт возьми? — спросил первый.

— Я его знаю. Это Роза, залетный. Спортсмен, но при делах. Стоял в доле в кафе на Горького у Кедруса с Кашубой. Бывший боксер.

— Бывших боксеров не бывает, — сказал первый, глядя в зал, где разворачивалась настоящая драма насилия. — А эти терпилы откуда?

— Люберецкие.

— Понятно, — сказал первый. — Когда он закончит с ними, попроси его подняться сюда. Хочу, чтобы он на меня работал. — Он повернулся к своему огромному столу.

— Он еврей, — сказал второй.

— Неужели? — сказал первый.

Вначале были пивные рестораны со спорт-барами и дискотеки на Полянке и Крымском Валу,[6] потом — обменники и игровые автоматы Bally и ЮТ в расселенных квартирах первых этажей (позже ставших банковскими отделениями), в павильонах у вокзалов, рынков, переходов метро — пыльные стекла снаружи, внутри — светящихся неоном в струящемся алом сумраке ряды барабанов и панелей ставок. Он, как всегда, отвечал за безопасность, работая в доле или за деньги; и теперь сам почти не сидел за рулем; и рестораны теперь были другие — «Союз», «Архангельское», «Метрополь», «Дома туриста» или Центра международной торговли, с панорамными окнами, выходившими на простершуюся до горизонта Москву, преображенную ночными огнями, серую, сырую и мрачную днем, под свинцовым небом, с толпами, очередями, грязными стенами метро, над которыми жизнь внезапно вознесла его так, как ему не снилось. И окружала его публика почище — дельцы, министерские чиновники, главы грузинских и армянских кланов, милицейские чины, актрисы, содержанки, секретарши посольств, чьи лица не сохранила

память, и с настоящими деньгами в его жизнь вошли женщины, разные, у которых общим были самомнение, алчность, умные опытные руки и роскошные тела — прошли сквозь те годы, которые потом, при всем желании, память не разложила бы по месяцам и дням, так летело время. «Печору», «Ангару», «Метелицу»[7] перестраивали под казино, банки возникали на каждом углу, и день за днем оправдывалось и узаконивалось то, за что прежде карали и казнили окружавших его людей; и у него самого появился шанс открыть собственное дело, на широкую ногу, от которого он отказался тут же, твердо помня, что он один в Москве, один всегда и во всем, что он еврей и пришлый, пусть он спал и был расписан с москвичкой, владевшей косметическим салоном на Тверской, и ладил с ее мальчиком. Он, как обычно, вошел в долю, не чинясь, взвалив на себя большую часть рабочей ноши, и к спортзалу, куда он захаживал, чтобы держать форму, добавились тир и автодром, курсы английского языка, а к книгам по устройству игорных автоматов и оборудованию казино — пособия по полицейским вооружениям.

Эта жизнь была по нем; он трудился до седьмого пота, выкладываясь, как мальчишка, когда, бывало, лежал пластом на скамейке в раздевалке; и снова от него требовалось знать, кто чем дышит, проверять всех и вся, расставлять по местам, присматривать, выслушивать, пересчитывать и сверять, все на коленке, все молчком, разговаривая только по необходимости, потому что слова так же давались с трудом и в кабинете и в гаме узаконенного разгула и в звенящей тишине перелеска у заброшенного шоссе за окружной дорогой, где только и можно было без боязни говорить с людьми, от которых зависели дела; а после, один в машине, он замирал, вдыхая крепкий, почти осязаемый запах леса — сырой земли, прелых листьев и росной свежести, и память властно возвращала к родным местам, к промытым улицам, к утренней дымке, повисшей над городом, к пойме реки и тренировочному лагерю в сосняке, прокаленном солнцем, к простору, к боям, к сильным минутам жизни, когда клочок земли с понастроенными заводами и узловыми станциями, да улицами, засаженными каштанами, был домом, а родиной — вся земля.

А потом, таким же погожим утром он услыхал от человека, пересевшего к нему в машину то, что ожидал услышать раньше или позже: — Беги, Леня. Немедленно! Машину брось. И выбрось телефон. В доме у тебя обыск, найдут и контрабанду и наркоту. Партнер твой, Саша Серебро, застрелен при сопротивлении аресту, второй у нас, переписывает на правильных людей ваши бумаги. Розыскные карты в аэропортах на тебя выставят часа

через четыре, если выставят. Советую лететь в Белград, оттуда сейчас не экстрадируют. Если хочешь черкнуть пару слов супруге, я подожду. Прощай. Ты хороший человек! Жаль, что так вышло.

II

Он не раздумывал над тем, каким будет свидание с городом — с прошлым, которыми и был город, — жившим своей жизнью после его отъезда и похорон отца (впрочем, четыре дня похорон и три недели, пока он продавал квартиру, в счет шли), и теперь со смешанным чувством тоски и удовлетворения увидел то, что и ожидал: упадок и разрушение, кирпичные фасады в трещинах, обвалившиеся балконы, листы железа и шифера, заграждения из крашенной сетки-рабицы, ржавые гаражи, сорную траву, там и сям выбившуюся из тротуара, просевшие бордюрные камни. Помнился заколоченный дом на кривом спуске за синагогой, оказавшийся Анатомическим театром женского медицинского института, сводчатая пустота и холод подвалов, где он, мальчишкой, искал местечко, более укромное, чем скамейки парков и подъезды — упадок и разрешение, созвучные неприкаянности, безденежью, юности, промозглым вечерам, когда и податься было некуда; но мысли бежать тоже не было, только неукротимое желание возмужать и одолеть жизнь, какой он представлял ее, благо, примеров было предостаточно.

— Есть дом на Полтавском шляхе, — говорил рабочий. — Тоже пострадал, в нем если что затевать, так только на первом этаже… На площади Фейербаха есть дом двенадцать, годящийся. На продажу выставлен. Знатный дом. Договорился там с людьми о ключах. От них должен быть представитель. На Черноглазовской есть, нежилой, окна на двор… Те тоже будем смотреть?

Розенберг кивнул.

Дом на площади Фейербаха выглядел подходящим — двухэтажный особняк в псевдоготическом стиле, с двумя треугольными фронтонами, прорезанными готическими окнами, готическим треугольным эркером, краббами, медальонами и рустовкой по фасаду. Внутри царили полумрак; звуки города тут были почти не различимы, точно изжиты застывшей тишиной покинутого жилья, и Розенбергу, переходившему из комнаты в комнату, вдруг стало не по себе. Он остановился, как вкопанный, посреди пыльной полутемной гостиной, пытаясь понять, что именно не восстанавливает и отвергает память. Затем вышел наружу.

— Устраивает? — спросил представитель.

— Да, — сказал Розенберг.

— Если не найдете аккумуляторы, накинем клеммы на провода, — сказал рабочий.

— Нет необходимости, — сказал представитель. — Здание обесточено временно. Просто откроем щитовую. В котором часу?

— Пока не знаю. Позвоню вечером, — сказал Розенберг.

— Деньги не забудьте.

— Конечно.

— Ваш человек говорил, вам нужно ванну занести в квартиру на первом этаже?

— Правильно. Он купит и привезет вечером. Деньги я дал, — сказал Розенберг.

— А после как вы с ней думаете?

— Вот он заберет. Или оставите себе. Решите сами.

Было около девяти утра. Он позавтракал в гостинице. Потом пересек площадь и вернулся в номер с бутылкой Label 5. День был не по-летнему прохладный, солнечный. Город казался вымершим — как те безлюдные, заброшенные поселки и селения, когда чудилось, что само место, небо и дома, сторожат каждое движение. Его коробило убожество аттракционов на площади перед гостиницей — размалеванных прицепов, горок из розового пластика, надувных замков и батутов; перед отлетом он слышал от кого-то, что городская площадь, вторая по величине в Европе, отдана под ярмарки окрестных сел с площадями и балаганами; это оскорбляло память молодости, неизжитые представления о прошлом.

В номере он присел к письменному столу, открыл папку с номерами телефонов, хранившуюся в ящике, и позвонил в ресепшн. Ему ответили, что принимают объявления для газет и кабельных каналов. Бланки на стойке. Что-нибудь еще, господин Розенберг?

— Мне нужен фотограф, — сказал он. — Хороший. И расторопный. Поможете найти такого?

— С нами работает фотограф. Снимает делегации, прогулки, праздники. Подрабатывает у нас. Милый парень.

— Отлично, — сказал Розенберг. — Жду его в холле завтра в десять утра.

По городским меркам номер был прекрасным, но его теснота раздражала Розенберга.

Ему не терпелось выйти на воздух.

Он решил пройтись пешком до Новгородской, оттуда — на Авиационную. Путь его лежал мимо тихих сонных улиц, где когда-то жили Файтлин, его одноклассник, разбившийся, когда перегонял свою первую машину из Тольятти; тетки по матери, две старые девы, казавшиеся в детстве феями добра, англоманки, завещавшие ему квартиру, которую он так и не получил; его учитель живописи и истории средних веков, кумир школы,

уехавший одним из первых. Ничего не изменилось в каменном безличье серых домов, в затененности улиц, ставших лабиринтом воспоминаний; но жизнь, к которой предстояло вернуться — кладки стен, вывески на иврите, семисвечники и серебро в полумраке синагог, зной, люди в черных шляпах и допотопных сюртуках, болтающиеся нити талесов, гортанная речь и мраморные облака — не отпускала, заставляя чувствовать себя пришлым.

Двухэтажный, крытый красной черепицей, особняк стоял за кованным забором.

Перед отлетом Розенберг просмотрел о Ходосе все, что было в сети, без мысли разобраться в какофонии измышлений, обличений, лжи и откровенной паранойи, а пытаясь понять, к кому его посылают.

Барон Эдуард Ходос написал двадцать пять книг, обличающих хасидов Хабада, вел с ними войну на моральное уничтожение; призывал создать православную монархию с костяком из казачества. Книги назывались «Топор над Православием» «Пришествие Иуды», «Еврейская рулетка» и «Еврейский удар, или Монолог с петлей на шее» и расходились с невероятной быстротой, как писали в сети. Ходоса приглашали на конференции «для обсуждения проблем мирового сионизма»; памфлеты и газету «Тихий ужас» он печатал за собственный счет и раздавал у входов в метро. Писали, что он владеет потрясающими произведениями искусства, что в молодости сидел, но был оправдан. Он участвовал в реституции синагоги,[8] в подвале которой прошли юность и молодость Розенберга, со своей реформистской общиной занял в ней, было, второй этаж, не поделил ее с хасидами Хабада с первого этажа, проиграл им суды, был изгнан и теперь боролся с «иудео-нацистской сектой Хабад» и всей иудейской традицией.

Ходос принял Розенберга в талесе поверх черного тканого халата, в кресле из убранства синагоги, в гостиной, походившей на дирекцию театра. Розенберг сел за обитый кожей стол, без стеснения разглядывая занавес вдоль стены, старинную мебель, столешницу с фотографиями, резные полки, переплеты фолиантов.

Взяв письмо, Ходос, стриженный наголо человек лет шестидесяти, с минуту разглядывал Розенберга.

Потом сказал:

— Так. Розенберг. Наслышан.

Он помахал письмом Хилынейна.

— Правильно делает этот еврей, что не доверяет вашей фашистской почте. Мерзавцы. Спят и видят, как со мной

разделаться! Читали против меня молитву «Пульса де-Нура»10! Тебе об этом известно, Розенберг? Тебе рассказывали, кто я такой? О моей борьбе с еврейским фашизмом? Что ты вообще знаешь, Розенберг?

Он углубился в чтение.

Лицо его, задумчивое, непреклонное, хранило отпечаток неистовства, как хранят отпечаток несмиренности и былой ярости лица старых вояк, просветленного отсутствия — лица бородатых ортодоксов, столь ненавидимых Ходосом.

Разглядывая его с легкой усмешкой, Розенберг в который раз почувствовал себя отступником, не способным проникнуться духом еврейства: с Израилем его роднила кровь, с городом — жизнь.

— Что тебе сказал Хильштейн? — спросил Ходос, не отрывая глаз от письма.

— Забрать ответ.

— Я напишу ему, — сказал Ходос.

Теперь он снова смотрел на Розенберга.

— Ты должен понимать, в каком мире живешь, Розенберг, — сказал он. Говорил он негромко, однако, лицо его осветилось так, будто неистовство, отметившее его, разом обрело плоть и голос. — Среди кого ты живешь! Смотри на меня. Я несу Слово и живу без страха. Мои книги — молитвы на освобождение от проклятого ига иудео-нацизма, надругавшегося над Правдой Божьей! Раввины подсунули народам свет иудейской веры вместо Света Истины. Я признаю богоизбранность народа иудейского, раз в нем рожден Сын Божий, чтобы отвратить еврейский народ от бесовства. Я — кровник Спасителя, мстящий его палачам! Моя еврейская месть беспощадна! Ты слышишь меня, Розенберг? Вот ты. Ты, говорят, что-то можешь. Израиль твой дом? Для чего ты живешь? Кто ты?

— Никто, — сказал Розенберг. — Когда-то жил здесь. Ходил в вашу синагогу. Тогда она синагогой не была.

— Она всегда была синагогой.

— Нет, — сказал Розенберг. — Но неважно. Я наведаюсь перед отлетом.

Он поднялся и пошел к двери.

— Погоди, — сказал Ходос.

Он вышел из комнаты и тут же вернулся.

— Возьми, — сказал он Розенбергу — Прочтешь на досуге. — И сунул ему в руки несколько своих брошюр.

— Оставьте себе. Я не читаю на русском. Это еврейские дела, я в них не смыслю, мне они не по уму.

— Ты должен понять, кто ты. И для чего ты живешь,

Розенберг! — повысил голос Ходос у него за спиной.

Розенберг неторопливо обернулся, заполнив собой дверной проем. Выражение его лица изменилось. До сих пор он был уверен, что разговаривает с городским сумасшедшим. Он внимательно посмотрел на Ходоса, прежде, чем ответить:

— Да. Было бы неплохо. Жаль, время ушло. С этим надо было заводиться раньше, рав Ходос.

III

Было двадцать минут первого. Полдень был с самом разгаре, солнце в белесой дымке стояло почти отвесно.

Он направился к проспекту, шагая вдоль тени разросшихся лип.

Объявления о съемках были оплачены им на радио и кабельных каналах, в семичасовом блоке. Звонков можно было ждать до полуночи. Как бывало, ближе к полудню ему хотелось выпить, но оставалось дело, которое он откладывал, пока мог, точно вознамерившись разом избыть все, досаждавшее ему годами, и вернулся в город ради этого.

В номере он достал из чемодана ноутбук и позвонил, чтобы его подключили к сети.

Когда служащий ушел, он задернул шторы, снял туфли и носки, и налил себе выпивки.

Потом расположился поудобней в кресле и вошел в скайп.

— Привет, Леня, — сказал Алекс Сур кис в Филадельфии, когда их лица проступили на экране. На нем был пиджак, галстук-бабочка, белоснежная рубашка, роговые очки.

— Куда-то собрался?

— Да нет. Я пока в офисе, через час поеду домой.

— Что там у тебя с Аней? Что происходит? — спросил Розенберг.

— Скверно, Леня. То есть, в медицинском смысле с ней все в порядке. Она перенесла две операции, у нее удалены почка, матка, ее облучали, и скажу я тебе, спасти ее могли только в Штатах! Она все перенесла и здорова, на сколько можно быть здоровой после всего… Но ведь она сумасшедшая! Она совершенно сошла с ума, и вменить ее не в моих силах! Ее как подменили, понимаешь? Купила себе последнюю модель BMW, потом улетела, будто бы по делам, а две недели спустя мне позвонили из Рима. Она сняла президентский номер в Ambasciatori Palace, швырялась деньгами, как ненормальная, накупила гору вещей на десятки тысяч долларов. Мне позвонили из-за неоплаченных счетов! Пришлось лететь туда, забирать ее. Она не желала уезжать, кричала, что хочет жить, жить, жить! Я пытался ей объяснить, что она пустит нас с сыном по миру, но она ничего не желала слышать! Она возненавидела меня, мне кажется! Я перестал ее понимать. Через месяц все повторилось! Мы заложили дом, чтобы расплатиться по долгам, но на нее это не подействовало. Ей совершенно все равно! Со мной она говорит только о счетах. Только! Пить ей нельзя, но она выпивает, тут же

отключается, а потом не помнит, что было. Я пытался ее удерживать, но она приходит в бешенство и кричит мне в лицо страшные вещи! Развестись с ней, я, сам понимаешь, не могу, лишить ее дееспособности тоже не могу; ее тут же запрут в клинику. Не знаю, что с нами будет. Она не оставляет мне другого выхода. Теперь она впадает в отключку где угодно, просто гаснет, как лампа, и все. Ее стало опасно отпускать. Погоди, покажу тебе!

Он поднес к экрану мобильный телефон, и Розенберг разглядел в нем женщину в кожаной куртке, спящую в вагоне подземки, безжизненностью, поникшей головой в желто-синем парике напоминавшую куклу.

— Ну как? Тебе хорошо видно? — спросил Соловьев. — Такая теперь наша Аня. Как она тебе?

— Что ты решил? — спросил Розенберг.

— Что я могу решить? Еде у меня выход, Леня? Я должен зарабатывать деньги. Мы в долгах. Я должен буду давать ей деньги, если разведусь, но грабить нас она не сможет!

— И ты решил поместить ее в клинику?

— Хочешь сказать: у меня не хватает духа с ней развестись? А ты бы что сделал? Оставил бы все, как есть?

— Может быть, — сказал Розенберг.

— Ты бы, конечно, ее не бросил.

— И ты не бросишь, — сказал Розенберг. — Это уже ненадолго.

Он закрыл верхнюю панель ноутбука, отхлебнул виски и пересел на кровать. Потом лег навзничь, поставив стакан на живот. Час спустя, он все еще смотрел, как солнце просвечивает шторы. Потом перевалило за полдень. Вслух он сказал: — Это все ее болезнь! — думая: «Еще неизвестно, как бы все обернулось. Со мной ей было пришлось еще хуже!», хотя было ясно, что хуже некуда.

Он был на четыре года старше ее, и тогда это имело значение. Высокая, под стать ему, со смуглым румянцем, черными волосами, распущенными как у итальянок в фильмах тех лет, она была еврейкой, и это тоже имело значение, потому что тогда он еще стеснялся женщин; то, что она такая яркая, так хороша собой, приводило его в восторг, но больше льстило самолюбию. У нее была округлая налитая грудь, крутые бедра, плоский живот и линия спины и ягодиц, при виде которой у него пересыхало в горле. Она ходила на его бои, ждала его там, где он велел, бежала рядом, подлаживаясь под его широкий шаг, смотрела на него в упор полными решимости глазами, но он так и не переспал с ней из боязни последствий и про себя зная, что она не по нем, хотя

несколько раз они были, что называется, на грани. Потом его пригласили ее родители и попросили не портить дочери жизнь. Позже ему сказали, что Арановичи собрались уезжать.

Все это память знала, не сохранив почти ничего зримого в несметной сутолоке событий, лиц, голосов; воспоминания о ней всегда были обрывочны и внезапны; тело ее он не мог вызвать в памяти, как не пытался, да это и было ни чему. Прошло больше тридцати лет, она прожила жизнь, о которой он давно составил себе представление, близкое истинному, — но и только. Точно щадя его, память не помнила почти ничего из того, что касалось женщин: переживаний, ссор и телесной близости, того, чему он отдавал себя, на что растрачивал, чем овладевал, что губил. Он даже лица ее не разглядел — и, тем не менее, в углу подземки спала Аня Аранович, которая хотела жить и жила, покуда жил и дышал он сам, помнивший ее полуоткрытые губы, опушку серого зимнего пальто.

Теперь ему казалось, что все это было не с ним. То время, сполна им оплаченное, было и кануло, как кануло другое, которое он тщился забыть и не мог, как ни старался: туманные утра, мёртвую тишину гиблых мест, обращенных в захоронения, рыжие осенние леса, горные склоны, поросшие сосняком и припорошенную снегом землю; смрад; горевшие в ночи поселки и дома, выгоравшие изнутри, как угли; сломанные койки брошенных госпиталей; битое стекло и крошево; трупы на улицах, в квартирах и подвалах; названия населённых пунктов Хорча, Власеница, Приедор, Босански-Нови, оставшиеся на внутреннем слухе; грохот тяжелых орудий; дым, валивший над крышами Мостара;[9] душевную немоту в бою, которую считали хладнокровием, и такую пустоту после, которой даже он страшился, не пытаясь понять. Первое время, боясь себя, он остерегался пить, потом прошло и оно. Он прибыл с Сербию из Черновцов, через Мукачево и Будапешт, в августе девяносто второго, спустя неделю после провозглашения независимости, как оказалось, одним из первых, почти не понимая язык, но веря, что его не выдадут; два года воевал в разведывательно-диверсионных группах, с прибывавшими из Европы и России ветеранами войн, Афганистана, Чечни, Приднестровья, с людьми, не обустроенными в жизни, как и он сам впервые взявшими в руки оружие, Республика Сербская стала убежищем тем, кому не к чему было возвращаться. Ему, укрывшемуся среди них, помогло, что он был старше их, что говорил с трудом и что в деле не военном был всех их опытнее и опаснее; неучастие в общих разговорах, и то, что он ничего здесь не ждал и не хотел, действуя внимательно, расчетливо и уверенно, как если бы переменился

характер работы, но не сама работа, которую он делал всегда. Он видел, что сербы их используют, но такова была цена. Он был здесь «русским», носил крест, купленный по случаю, отмалчиваясь, если расспрашивали, что за воюет. Иногда он думал, что мог бы укрыться проще, безопаснее, про себя зная, что это не так. Ему везло. Он участвовал в девяти акциях и ни разу не был ранен. Однажды он разбил пистолетом лицо пленному. Месяц спустя, стоя на моросящем дожде и глядя, как сербы расстреливают наемников-арабов, понял, что с него довольно. В школьном кабинете, служившем штабом его отряду он положил автомат на стол перед командиром. Тот вскинул глаза. «Возвращаюсь домой, отец плох». — сказал Розенберг.

Его не удерживали.

IV

Фотограф был молод.

Он сел напротив Розенберга в вестибюле гостиницы, выдержанном в медном и малиновом тонах, взял бумаги Фрея, журнал и фотографии, и принялся просматривать их, зацепив дужкой темные очки за отворот расстегнутой на груди рубашки.

Потом уставился на Розенберга.

— Это Фрей писал? — спросил он. — И вы хотите, чтобы я снимал для Фрея? А сам он где?

— В Риме. Прилетит через два-три дня.

— Ладно, с этим понятно! А вы, значит, отсмотрели площадки и объявили кастинг? Вы — фотопродюсер у Фрея, фотограф?

— Нет.

— Тогда почему он поручил это вам?

— У меня много свободного времени, — сказал Розенберг.

Фотограф засмеялся.

— Вы правы, — сказал он, — это не мое дело. Итак, у нас площадки — Театральный переулок, «Крыша Мира»,[10] площадь Фейербаха двенадцать, Рымарская шесть или дом четыре на Красина, парковая скамья, мост и железнодорожные пути. Ну, хорошо! Скамью мы отснимем в парке Горького. Мост и пути отсмотрели? Мост я бы снял железнодорожный, что на Белгородском направлении. Полуразрушенный, с просевшей платформой, этакий забытый полустанок от советских времен… Еще есть мосты — на Диканевке и на Новожанонова, тоже железнодорожные, вот те хороши! Фантастические мосты! Мрачные, даже устрашающие, проложены над заводскими стоками, кругом — ни души… Ландшафт, который жаждет увидеть мистер Фрей, если я правильно понимаю задачи съемки. Впрочем, отснимем, предложим… Модели — люди пожилые, портфолио, разумеется, ни у кого нет. Так что снимем тестовые фото, сюжет-события и проходы. Свет мой, машина моя. Ну что ж. Я попрошу тысячу шестьсот долларов за эту великую мороку.

— Тысяча двести, — сказал Розенберг.

— Не пойдет! Нужно снимать на пяти площадках. И не это главное. Большие проблемы я предвижу с вашими возрастными моделями. Вы указали в объявлениях, что съемки без ограничений и им придется позировать раздетыми?

— Хорошо. Тысяча триста. Бери или уходи.

— Ладно, тысяча триста. Теперь — визажист. Есть такой, профессионал, с переносной визаж-студией, как раз, чтобы

снимать в руинах. Прекрасное название, кстати: «Зодчие руин»… Поступим так: я сейчас съезжу за светом и прихвачу аккумуляторы, на всякий случай. Вы назначили кастинг на два, а сейчас десять. Два часа, считайте, в нашем распоряжении. Можно проехаться, щелкнуть мосты. Вернемся — заберем мужскую модель и снимемся в Театральном переулке. Остальные погуляют час. В три начнем съемки на Фейербаха. Я обернусь мигом, позвоню снизу. И вот еще что: хорошо бы часть денег вперед. Хотя бы пятьсот долларов.

— Ладно, — сказал Розенберг. — Получишь, когда начнем снимать.

— А сейчас никак?

— Не торопи меня, парень.

Фотограф хмыкнул. Розенберг ему нравился.

Час спустя центр города — булыжная мостовая площади, на закате блестевшая как металл, да ломанная линия деревьев и домов за окнами номера — последнее, что он видел вчера, задергивая шторы — остался далеко позади. Они мчались мимо полей, исправительной колонии, мимо депо ЮЖД, завода изоляционных и асбестоцементных материалов — мест, в которых никогда не был Розенберг, считавший, что знает город вдоль и поперек, потому (думалось ему), что бывать здесь было без надобности, как в любом окраинном рабочем районе, теперь полуразрушенном, с заводскими воротами, выкрашенными серебрянкой, барельефами орденов над проходными, пропыленными стеклами корпусов и немо торчавшими трубами, панельными семиэтажками швами наружу, хламом на балконах, канавами со стоячей водой, заборами, да тополями, черневшими в сером небе. Теперь, на солнце догоравшего лета, все это казалось белесым и безжизненным.

Розенберг задумчиво смотрел в окно.

— Что это Фрею вздумалось снимать у нас? — спросил фотограф. — Все это проще было организовать в Москве или в Питере. Потянуло в родные места?

— Да нет, — сказал Розенберг, — так совпало. Он знал, что я собираюсь на родину. Я тоже воспользовался случаем. Здесь похоронены родители. Надумал взглянуть, что и как. Он оплатил дорогу.

Им пришлось выйти из машины и пройти по насыпи сотню метров, прежде, чем показались фермы моста.

Место было необжитым; противоположный берег — поросшим сухостоем, мост — коротким, в один пролет. Фотограф достал из сумки аппарат и принялся снимать, присел, потом почти лег на насыпь. — Согласитесь, мост — находка! Мост в

никуда. Настоящий urban! — полуобернувшись, сказал он Розенбергу; слова неожиданно громко прозвучали в звенящей тишине. — Тут надо снимать в туман или с генераторами дыма! Знаю, кстати, где раздобыть пару таких. Можете пройтись к воде, а потом — по мосту? У воды повернитесь ко мне!

— Ладно, — сказал Розенберг.

Он снял очки и неспешно пошел к мосту, спрятав руки в карманы плаща. С непокрытой головой, в пуловере под плащом, светлых брюках и мокасинах он чувствовал себя беззащитным, как под прицелом, умом понимая, что так на него всегда будут действовать мосты, дорожные развилки, пустоши, поля.

Он постоял у темной, точно автол, воды, повернулся к фотографу и, обойдя опору, поднялся на мост.

— Дальше идти? — спросил он.

— Нет, — сказал фотограф. — Нет, нет, достаточно! Теперь поехали на Новожаново, и — назад. До туда будет минут двадцать.

Второй мост был почти таким же: мрачный, высившийся фермами над оврагом, промытым ручьем. Похожим было и место — солнечным и безлюдным, почти зловещим. Розенберг не пожелал спуститься к воде, как просил фотограф и, стоя наверху, смотрел, как тот снимает балки платформы, воду у опор, валуны.

Потом пошел к машине, забрался на заднее сиденье, запахнул плащ и закрыл глаза.

Он подумал, что забывать — несомненно, лучшее свойство памяти. Ему понадобилось прожить жизнь, чтобы понять, как устроено время, что забыть можно все или почти все, если нет зримых воплощений прошлого — домов, памятников, руин — что прошлого, как такового, нет, только пережитое — переживания, становящиеся памятью, когда чувства утихают, исчерпывая себя, исчезая бесследно, как люди. Невеста юности его выбрала не худший способ, думалось ему, а, пожалуй, единственно верный. Он сам прибегнул к такому когда-то и готов был прибегнуть опять. Ему вспомнилось, как отец, главный инженер завода, продолжал выходить на работу каждый день, когда завод третий год был закрыт и разворован до гвоздя, до станочных плат, проданы были даже подъездные пути, чтобы рассчитаться с рабочими, и как он вечерами ел на кухне, где ему подавала женщина, приходившая готовить и стирать, с тех пор, как не стало матери, склоненную голову отца, огромный лоб, тронутый старческими пятнами.

— Поехали в гостиницу, — сказал он фотографу. — Мне надо выпить, а ты поешь.

Теперь, по прошествии стольких лет, он мог признаться себе,

что всегда стеснялся отца, его выговора, шуток, просительных интонаций, того, что было в нем еврейского, не изжитого ни войной, ни работой, ни средой, ни говором города и края; еврейство, как тогда казалось ему, было не просто слабостью, а чем-то вроде порчи или проклятия, чем-то, что нельзя ни скрыть, ни навязать, разве что заставить, чтобы все вокруг делали вид, что не замечают этого — то, чего он, мальчишкой, не мог и не умел добиться, как и примириться с тем, что его отец — тихий, уступчивый человек, казавшийся несобранным и несообразным из-за высокого роста, сутулости, очков, всего, что в представлении мальчишки было достойным презрения и осмеяния, как и его собственное заикание, рыжие волосы, фамилия. Ему представлялось, что отец нуждается в покровительстве и защите едва ли не больше его самого, даже не потому, что тот был Розенбергом-старшим, но оттого, что, как казалось сыну, ему полной мерой передались отцовская уязвимость, беспомощность, и, бросаясь драться кулаками, камнями, всем, что попадалось под руку, когда его высмеивали или задирали, он защищает их обоих.

Фактически его воспитали женщины — бабушка и мать, на деле — дворы на Рымарской. Потом — мужчина с перебитым носом и ушами, с костными мозолями на кулаках, чье имя всеми и везде произносилось осторожно и почтительно, зарабатывавший на жизнь альфрейными работами, в комнате у которого стоял докторский саквояж, заменявший денежный ящик; у него он перенял походку, манеру держаться, стиль одежды и правила жизни, поведенческий кодекс, учивший, как обращаться с мужчинами, женщинами, друзьями и деньгами; так и вышло, что говорить об этом можно было с ним или с матерью, но не с отцом — чему причиной был даже не отец, не его завод или работа и должность, требующие уважения, и то немногое, что оставалось семье, а самый уклад города, скорее люмпенский, нежели пролетарский, с рюмочными, пивными, рынками, лязганьем трамваев, пыльными улицами, папиросами, обращением «слышишь!..», танцами в парках, пиджаками, поножовщиной и рабочими районами, простиравшимися за перекрёстками трехчетырех центральных улиц; оттуда проходило все, оскорблявшее, угрожавшее и ненавидимое — частью чего был отец, данник того, с чем надо было жить, к чему притерпеться, и принадлежавший этому, хотел он того или нет. Несколько раз они с отцом ездили к морю, где он нехотя вверялся отцовской заботе, единственному выражению отцовской любви, безмерной (как он понял потом), но не нашедшей ни средств, ни языка, чтобы окруженный и взращенный ею, мальчик вырос и возмужал,

как хотел отец и мечтала мать. Потому что он возвращался к улицам и дворам, где они были бессильны. Потому что он рос среди сверстников, замкнутый, воинственный, способный броситься на парня десятью годами старше, на взрослого, в ослеплении клокочущей ярости, так же бессильной, потому что почти всегда это заканчивалось одним и тем же: избитый в кровь, весь в пыли, с порванным рукавом или штаниной, он ковылял за гаражи, к пожарному гидранту или искал кран, чтобы умыть лицо, и уж не помнил, когда с ним дрались честно, один на один; или, подталкиваемый матерью, входил в отделение, где на скамье у дежурного уже сидел кто-то из сверстников с пробитой головой и обозленными, перепуганными родителями, и стоял молча, слушая тихий и спокойный голос матери: — Он еще мальчишка. Его дразнили. Была драка. Их было несколько на одного. — И дежурный, морщась, обрывал ее: — Ну да. Конечно. Это самое я слышал от вас пять дней назад! Если вы знаете, что он у вас бешенный, не отпускайте его одного! Ты расскажи мне, что нам с тобой делать, Розенберг? — А дома, через дверь слышал отцовский голос, исполненный того же гневного недоумения: — Я не понимаю, что с ним происходит и когда это закончится, черт возьми! Весь мир против него! Он один не может спокойно выйти на улицу, ты мне не объяснишь, почему? — И снова слышался спокойный и ясный женский голос: — Ты знаешь, почему. Ты все прекрасно знаешь! — И снова гремел голос отца, гневный, недоумевающий, растерянный: — Что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? Я бы отдал его в армию лично, завтра же! — И женский голос отвечал со спокойным стоическим терпением: — Еоворю тебе: он просто мальчишка. Это возраст. Это пройдет! Он хороший храбрый мальчик. — А потом это кончилось, в минуту, когда он нашел себя, спустившись по лестнице в полуподвал здания синагоги; глаза обежали зал, и заглушая все то подлое, оголтелое, с чем не мирились ни ум, ни память, голос внутри сказал «Вот оно. То, что ты искал. И помни: никогда больше. Ни от кого. Никогда».

V

— Внимание! — сказал фотограф. — Все, кто на съемку, пожалуйста, станьте у стены.

— Трое мужчин и семь пожилых женщин с готовностью подошли к стене. Ванну, как оказалось, уже втащили. Двери квартир на первом этаже были распахнуты, как некогда в квартиру Розенберга перед продажей; пыльные лампочки на шнурах, тронутых побелкой, горели в зыбком сумраке, очеркивая наготу стен и потолков, набрасывая на лица резкие тени, из которых глядели глаза. — Мы проводим набор моделей для съемки Ильи Фрея, известного фотографа, лауреата международных премий. Господина Фрея — поправился он. — Вот его представитель, господин Розенберг, израильтянин, как и господин Фрей, оба — уроженцы нашего города.

— Проще говоря, Ильи Фреймана, — негромко сказал один из мужчин.

— Совершенно верно, — сказал фотограф любезно. — Но мы тут все-таки будем называть его господин Фрей, как он пишется в журналах и каталогах. Не возражаете?

— Да нет, — сказал мужчина. — Фрей так Фрей. Как скажете.

— Превосходно! — сказал фотограф. — Меня зовут Дмитрий. Есть кто-то, кто прежде снимался в фотосессиях? Нет? Ну, неважно. Это проект для Венецианского бьеннале. Чуть позже мы познакомимся со всеми поименно; тем, кого выберет господин Фрей, нужно будет заполнить анкеты и договоры. К анкетам будут приложены ваши фотографии, которые сниму сейчас я. Внимание! Тут у меня конспект съемки и фотоматериал, раскрывающий идею, но я скажу все на словах и отвечу на вопросы. — Он отошел к окну, пробежал глазами текст: — Рабочее название проекта: «Зодчие руин». Господин Фрей решил представить в серии работ масштабную и разноплановую иллюстрацию краха большевистского проекта. Идея проекта Хэмингуэевская: «Люди не верят в поражение, пока не увидят руины». Идеология режима исчерпана, он пал, в бывших республиках промышленные центры отмирают, превращаются в брошенные города. Представим взрыв, оставивший все на своих местах, но отшвырнувший такой город, как наш на обочину развития. Жизнь в нем — существование вне времени, полуреальное полубытие, в котором люди-призраки живут в прошлом и прошлым.

— Тут и представлять нечего, — сказал мужчина.

— Они доживают свои истории среди разрушающихся

зданий, заводов, мостов, — продолжал фотограф, — становясь заложниками воспоминаний, любовниками, уединяющимися в ванных, в гостиных опустевших квартир, на подоконниках подъездов, как юности. Господин Фрей хочет снять нескольких женщин и пожилые пары в коротких love-story, в псевдоготике, этаком городском средневековье. Не приукрашивая ни тела, ни камня. Это будут черно-белые фотографии в духе неореализма, с чем-то от немого кино — позами, театральностью, драмой. Так ему это видится.

— Постойте! — сказала одна из женщин. — Вы здесь нас будете фотографировать? В этой грязи?

— Совершенно верно, — сказал фотограф любезно. — Мы хотим снять наш проект, а не ваши студийные портреты. Вы должны понять следующее: это роли, игра. В которых вы играете отчасти себя самих.

— Людей-призраков.

— В какой-то мере. Условно, метафорически. Людей без будущего, не переставших жить и любить. Даже счастливых тем, что они остались одни. Таких городов множество. Детройт, Гери в Индиане в США, Магадан, да мало ли мертвых городов! Просто представим, что в них остались люди. Что они больше не надрываются на работе, не борются за жизнь, а просто живут и любят. Руины для них нечто вроде рая, который подарил им режим, и эти люди — вы.

— Мы должны будем развеваться, так?

— Скажем, сниматься полураздетыми. Вы уточните у господина Фрея. Тут нужны искренность, обнаженность, правда. К тому же вам хорошо заплатят.

— Пойдем отсюда, — сказала женщина подруге.

— Нет, я буду участвовать, — сказала та. — Мне не близка идея, но деньги мне нужны.

— Прекрасно, — сказал фотограф. — А пока давайте прервемся. Мы вас оставим минут на сорок. У вас будет возможность все обсудить. Если надумаете сниматься, помните: съемка — совместный труд фотографа и модели. Тут либо проникаешься идеей, характером самого действа, либо лучше не начинать.

— Это мы тоже поняли.

— Прекрасно, — сказал фотограф. — Теперь мне нужен мужчина для сюжета на другой площадке. Вы, например, — Он кивнул человеку, говорившему с ним о Фрее.

— Проедетесь с нами.

Он вышел с Розенбергом в коридор, к представителям собственника и рабочему. — Ну что ж, все неплохо! — сказал он

негромко, доверительно. — Начнем через час, снимать будем часа два. Свет нежелателен. Нужно, чтобы было темно. В этих трех комнатах можно заклеить окна газетами или плотной бумагой? Или заложить их листами толи? После мы их завесим чем-нибудь. Подметать пока не надо, сбрызните пол, чтобы прибить пыль. Газеты расстелите на подоконниках тут и там. Ну что, довольны? — сказал он Розенбергу.

Не отвечая, Розенберг достал из заднего кармана бумажник, отсчитал пятьсот долларов и отдал фотографу.

Была середина дня, полуденное солнце слепило. Рабочий и мужчина-модель, ровесник Розенберга, уселись на заднее сиденье. В подскакивавшей, дребезжащей машине они одолели подъем к городской площади и свернули на Пушкинскую.

— Хотел спросить, почему в город как вымер? — спросил Розенберг фотографа.

— Люди разъехались. На заработки. В Польшу. В Россию. В Германию. Те, кто остались, на дачах или на работе, если она есть. На вещевом рынке, горбатятся на китайцев. Многие поумирали или уехали, как вы. В центре всегда безлюдно в полдень. Вы, кстати, где жили до эмиграции?

— На Рымарской. В шестом номере.

— Знаю этот дом. Ниже, на Бурсацком спуске у меня было когда-то место, простоял там пару лет. Торговал книгами. Под конец их даром никто не брал. Было такое время! Не застали?

— Нет, — сказал Розенберг.

— Повезло вам. Фрею тоже хватило ума уехать вовремя.

Фотограф припарковал машину у ограждений из шифера. Они прошли в ворота, мимо полуразрушенной пристройки, возвышавшейся среди разросшегося бурьяна. Стоявшие в ней милиционеры лениво следили, как они входят в здание; один поднял два пальца в карликовом приветствии. Розенберг вошел за фотографом в плотную тень, в тленные запахи развалин, держась обезображенных стен, устремленных в яркую синеву неба. Фотограф приостановился снимая обнажившуюся там и сям кладку стен, надписи, словно протравленные кислотой, черные балки, протянувшиеся у них над головами, разбитые балконные двери в верхних этажах. Потом окинул взглядом гору битого кирпича и камней.

— Придется обойти кругом, — сказал он Розенбергу. — Снимать надо на просвет, а солнце у нас за спиной. И вот что: мне понадобится ваш плащ, на пару минут. Дадите?

— Да, — сказал Розенберг, чувствуя, что происходящие начинать тяготить его.

Они перешли гуськом к противоположной стене, Розенберг

снял плащ и отдал фотографу. Тот передал его рабочему и стал прилаживать вспышку.

— Встаньте-ка к стене, — сказал он мужчине-модели. — Сделаем тестовые фото. Просто смотрите на меня. — Он чуть отступил, подался вперед, перенеся вес на переднюю ногу и на миг слился со своим массивным аппаратом. Ударила вспышка.

— Еще! — скомандовал он. — Позы не менять! — Снова ударила вспышка. — Так, — сказал фотограф. — Так. Закиньте голову, будто глядите меня свысока! — Вспышка ударила. — В следующий раз не брейтесь перед съемкой. Смотрите на меня исподлобья! Отвороты пиджака зажмите в кулаки и сведите их у подбородка. Хорошо! — Вспышка ударила. — Так. — сказал фотограф. — Превосходно! Сбросьте пиджак на локти и голову откиньте назад. Ага, так. — Вспышка ударила. — Станьте ко мне в профиль. — Вспышка ударила. — Ну вот, — сказал фотограф. — Достаточно. Теперь наденьте этот плащ и воротник поднимите! Представим, что вы здесь живете с собакой, и эта куча кирпича ваш палисадник, внутренний двор. Ранее утро; вы вышли подышать и выгулять пса. Пройдитесь наверх, не спеша и не останавливаясь. Руки суньте поглубже в карманы и распахните плащ. Пошли!

Осторожно ступая, мужчина двинулся наверх. Когда он дошел до середины, заработала вспышка. Розенберг следил за ним, не отрываясь. Он вдруг почувствовал почти мистическую многозначительность происходящего: так одинок был человек в его плаще, бредущий в косых лучах. На вершине мужчина остановился и, как вчера Розенберг, поднял голову к небу.

— Гениально! — работая вспышкой, в полголоса сказал фотограф. — Золотая умница Фрей! Вот широкая метафора жизни! Надо было снять его с голыми икрами, в туфлях на босу ногу, будто он только вылез из постели, ну да ладно, сойдет и так. Очень убедительно! Понимаете, о чем я говорю?

— Хочешь сказать, что останься я в городе, сейчас стоял бы там вместо него?

— Нет, просто образ символичен. Мы живем в руинах прошлого и шагаем по обломкам: вы, я, он. Не имеет значения, остались вы или уехали!

— Может быть, — сказал Розенберг. — Хотя я, кажется, неплохо устроился.

— Это что-то меняет? — с легкой иронией спросил фотограф.

— Слушай, парень, ты сможешь закончить без меня? Я тебе доверяю, — сказал Розенберг.

— Нет-нет, вам нужно остаться! Что-то может пойти не так. Это не профессиональные люди. Вы — заказчик, вы платите, все

происходит при вас, и никаких недоразумений! Снимем хотя бы квартиру и окна на Рымарской, в парке и на мосту я управлюсь сам. Так что, пожалуйста, не уходите!

— Мне ехать с вами или как? — спросил мужчина-модель. Он подошел, отдуваясь, и отдал Розенбергу его плащ. — Все хорошо, вы довольны? Можно взглянуть, что получилось? Я, кстати, в молодости играл в студенческом театре, это чувствуется?

— Да, — сказал фотограф. — Несомненно. — Он выразительно поглядел на Розенберга.

— Давайте-ка все закончим, снимки посмотрим потом.

Розенберг посмотрел на часы, потом — в узкое окно, в которым, точно очнувшись, увидел простершийся город: блеклосолнечные разномастные крыши, протянувшиеся, на сколько хватал глаз. Он выпил в гостинице и теперь почувствовал себя уставшим и отяжелевшим; съемки, поездки, фотограф утомили его. Он потерял интерес к происходящему еще раньше, поняв, что все идет как надо, и от него ждут только денег. Фотограф и мужчина-модель смотрели, как он направился к выходу из здания, прошел за ограждение, и, не дожидаясь их, сел в машину.

С тем же отсутствующим, жестким выражением на лице, на котором резче обозначились морщины, он прошел за фотографом в комнаты, покинутые ими час назад, точно переместившись из полумрака в полумрак, сквозь дремотную пустоту залитых солнцем улиц.

Пока их не было, несколько человек ушли.

— Скоро закончим, — сказал фотограф Розенбергу.

Розенберг с равнодушным любопытством оглядел женщин у дальнего окна. Одетые с провинциальной щепетильностью в неброские темные юбки, жакеты и плащи, они напоминали учительниц, явившихся на поминки и тихо переговаривавшихся в пустой гостиной. Мысль о том, что их будут снимать в фотосессии, показалась ему безумной — как те фотографии старческой женской плоти, затянутой в модное белье, которые Фрей приложил к плану съемок; точно читая его мысли, женщины у подоконника поглядывали в его сторону с плохо скрытой враждебностью. Все это нужно было перетерпеть, вернуться в гостиницу и выбросить из головы.

Фотограф принес из автомобиля кофр со студийным оборудованием.

Водрузив его на подоконник, он выложил удлинители, стационарные вспышки, завернутые в целлофан, штативы, зонты и зачехленные лайтбоксы.[11] Розенберг подошел помочь. Вдвоем они молча и споро расставили штативы. Фотограф водрузил на

них вспышки, вставил в одну белоснежный, китайского шелка, зонт, и направив в потолок ее тальковый свет, принялся собирать лайтбоксы. Навесив на остальные их черные короба с шелковыми экранами, ровным сиянием сгустившие сумрак, он вышел за бумагами Фрея. Розенберг, привалившись к стене, смотрел, как фотограф вернулся, как начались съемки; как в промежутках между ударами света менялись женщины у стены, вскоре перестав воспринимать происходящее, как учила привычка ждать — смотреть, не вглядываясь, и уж подавно не пытаясь понять, зачем он сам здесь, как он здесь очутился, просто стоять в плотном сумраке, против света и голосов, прислушиваясь к своему дыханию, к невнятному шуму воспоминаний; так было вчера на заре, среди развалин, и когда-то давно, когда он посмотрел вверх, на прожектора, слушая и не слыша формулу боя; бывало и потом, у кострища на берегу Моравы, в аэропорту Schiphol[12], на израильской улице, когда разум спрашивал у отблесков пламени, чужой спины, у силуэта самолета в лучах заката, как вышло, что он здесь, он ли это. Также спокойно, бездумно, слушая гул в ногах, он видел, как переместился свет, как пожилая женщина в лифчике и в нижней юбке, точно сошедшая со старых фотографий, прошлась, сопровождаемая вспышками, в конец коридора, стала там в несколько поз у дверного косяка, и в голове пронеслось: черт с ними. Мне-то до них что. Свой билет я отработал. Надо простоять здесь, пока они закончат, выпить и лечь в постель, чтобы вытянуться, как следует! — И снова свет переместился, выхватил ванную, стену и пол, сместились и голоса, препиравшиеся, перешедшие в крики, и женщина, наконец, забралась в пустую ванну, села в ней, обхватив колени, как ей велели, мужчина-модель подсел на обод; и она взглянула в сумрак, в котором стоял Розенберг. Мгновение она смотрела на него, затравлено как животное, с немым отупелым отчаянием, с каким смотрела из спальни мать, когда ей сообщили диагноз. Розенберг подался назад и взялся за стену, пытаясь устоять на ногах. Вздохнуть он не мог, как после удара в грудину; потом задышал, натужно, будто воздуха комнаты не хватало на вдох, и гостиная поплыла перед глазами; и память заговорила с ним, ясно, беззвучно, повелительно:

— Поспокойнее. Дыши. Время есть. Поспокойнее. Просто дыши, и все. — А потом расслышал и голос фотографа: — Что? Что такое? Что с вами? — И, все еще не придя в себя, услышал свой голос: — Ничего. Померещилось. — Это все духота! — говорил фотограф, — Вспышки греются. Надо на улицу! Я провожу вас! Идти сумеете? Вам бы врачу показаться! — Тут нет врачей. — Он снова услыхал свой голос: — Найдешь меня в

гостинице. Фрей прилетит в субботу. Заканчивай этот чертов цирк!

VI

Ночью сквозь сон он услышал, что телевизор работает.

Он сел на постели, не протрезвевший, с полузакрытыми глазами, нашарил ногами шлепанцы, поднялся и прошел к балкону, пытаясь попасть в рукава халата, Вызвездило; но край неба светлел, и по-утреннему, в вполнакала, горели фонари вдоль площади. Розенберг постоял в дверях, чувствуя, как знобкий ночной воздух взбирается к груди и животу; вернулся, залпом выпил бутылку воды из бара и забрался в постель. Он не напивался допьяна последние лет десять; алкоголя хватало на забытье до полуночи, и тогда он засыпал лишь под утро. Телевизор он не выключил. Снова проснулся, когда рассвело, еще в похмельной одури, пролежал с полчаса, не шевелясь, без мыслей, прислушиваясь к телу, как к на миг беспричинно разладившемуся механизму. Потом перестал. По крайней мере, теперь, он был свободен.

Он постоял под душем, оделся, спустился на второй этаж к шведскому столу; вернувшись в номер, отхлебнул из бутылки и сунул ее в карман плаща. Час спустя он был на автовокзале. Еще через час, проехав в тряском автобусе сельские пригороды, перелески и поля под картинной небесной синевой, сошел на площади областного городка, окруженной трехэтажными, казарменного вида домишками, тополями, клумбами, огражденными до половины врытыми в землю побеленными покрышками, пересел в старенькое такси и через десять минут был у наезженной дороги, что вела к мосту у дугообразной речной излучины, огибавшей далёкий мыс с кромкой леса. Там он расплатился, вылез — и двинулся, не торопясь, по мягкой пыли к мосту над искрившейся темной водой, за которой в густой зелени проглядывали белые домики. Когда-то он ходил этой дорогой каждое лето, месяц или два в году, в зависимости от того, сколько тянулись сборы, уезжая на выходные домой и возвращаясь таким же утрами, жарким или росным, с адидасовской сумкой на плече, а если сборы затягивались до октября — по осеннему студёными, и придорожная трава бывала прихвачена инеем, а лес окрашивался племенными цветами осени… Он перешел мост, вторивший шагам, взошел на песчаный, поросший сосняком, склон, и направился в глубину лагеря, между рядами фанерных домиков, — явно чужой здесь в своем летнем плаще, светлых брюках, мокасинах и дорогих темных очках; но лагерь был почти пуст и на него не обращали внимания. Розенберг свернул вправо, туда, где тридцать лет назад стояли палатки на четыре койки и

были навсегда вкопаны и зацементированы шпалы и щиты с кронштейнами и поперечными балками, на которые по утрам навешивались тяжелые мешки, пневматические и натяжные груши, хранившиеся в пристройке к тренерскому домишке; дальше — он точно помнил — стеной стоял молодой ельник, порыжелый к июлю, с плотным настилом игл, тенистый, в прокаленной хвойной духоте, пронизанной солнечными лучами. Теперь тут высились ели, переменился, поредел и вырос лес, чьими тропинкам они бежали каждое утро, небыстро, часами, сквозь смыкавшуюся листву орешников, тени и солнечные пятна; отыскивая взглядом тропинку, он всмотрелся в солнечную лесную глубину так, точно вздумал разглядеть силуэт с белым пятном полотенца вокруг шеи, мелькающий впереди таких же, расслышать шаги, которые могло бы хранить для него это зеленое безмолвие — место, позабывшее его и не узнавшее, а теперь чутко прислушивавшееся к его присутствию… Он рассмотрел тропинку, размытую за годы дождями, огляделся, достал из кармана бутылку, отхлебнул, и направился к дощатому помосту, открытому небу, вокруг которого траченные временем, потемневшие нтпалы и щиты стояли неприметно, точно избыв свое предназначение и растворившись в растительной жизни леса. Он подошел к одной, осторожно, как ребенок, тронул позеленевшую корку ржавчины. Потом сел на солнышке, на нагревшиеся, выбеленные временем доски; потом лег и раскинул руки, снова слыша несметные голоса памяти, молодые, беззаботные, неразличимые в слитном хоре, принадлежавшие его поколению, сгинувшему без следа, ушедшему беззвучнее дыма. Он не пытался вспомнить лица, заставить их выступить из темноты, зная, что половины нет в живых, по крайней мере, тех, о ком он слышал; сознавая, что решил тут найти что-то не от времени, от поры, когда жизнь столько обещала каждому, а от себя самого, расслышать свой голос в этом хоре. Он не жалел, что толком ничего не мог вспомнить, и не завидовал отцу, чьи фотографии встреч выпускников Политехнического каждые десять лет, хранились у него до сих пор. Было в них что-то кладбищенское, неотмирное. Его немногие фотографии, те, что снимали здесь, и снимки боев порвала девка, с которой он жил пол года; уходя, он выбросил клочки в кухонное ведро. Куда лучше он помнил, как мальчишкой покупал пирожки на углу Пушкинской и Воробьева, прямо из кухонного бака или как, взобравшись на будку киномеханика в сквере Дома ученных, глазел на экран, распластавшись на толевой крыше. Ему показалось, что он задремал. Он сел, посмотрел на часы и поднялся.

Он позвонил Ларочке с дороги; и снова, в таком же автобусе, среди бедно одетых людей, глядя в окно, в котором по убывающей дуге отодвигались, не удаляясь, как в панораме, перелески, поля и пыльная придорожная растительность, он мысленно пытался вернуться к тому, от чего уходил, что готов был отринуть при первой возможности, не допуская мысли, что останется и проживет жизнь тренером или директором рынка, или кем-то, кем, в конце концов, устраивались те, кто оставались и те, кто уезжали; и на свой магазин он не смотрел, как на собственное дело, перекупив его по случаю и передоверив закупки и счета одной семье, ни дня не простояв за прилавком. Он продал бы магазин, не раздумывая, будь в этом какой-то смысл. Раньше он думал, что это делает его свободным и что только так можно жить, и это оправдывало себя; потом не стало необходимости и в этом. Он стал подумывать о семье, потом думал об этом все реже, поняв, что проживает жизнь с сожительницей, даже с темнокожей, в нормальном, здоровом грехе, не потому, что искал вторую мать, но от того, что в его представлении жена должна быть ее продолжением, аватарой, и это время тоже ушло; и о нем он думал без сожаления, потому что пытаться зажить своим домом, жизнью своей семьи, значило не только порвать, а похоронить окончательно то, с чем он вырос, что почитал и любил. И о женщине, к которой ехал теперь, он думал тепло, но без раскаяния: еще одна, которой я испортил жизнь! С ними, кажется, мне удается только это.

Начинало смеркаться, когда он позвонил в ее дверь; вошел в прихожую квартирки, в которой — он скорее почувствовал, чем понял — не жил мужчина, по крайней мере, с тех пор, как он был тут последний раз, без малого, двадцать лет назад. Она впустила его, распахнув дверь и бросилась ему на шею; потом отступила на шаг, принимая у него цветы, коробки, глядя на него с недоверчивой, восторженной улыбкой на курносом веснущатом лице. Она побывала в парикмахерской, глаза скрывали дымчатые очки. В остальном она почти не изменилась; невысокая, стройная как девчонка, которую, казалось, годы сделали стройней, пощадили.

— Ленечка! — сказала она. — Леня Розенберг! — Она потрясла головой, словно отгоняя сон: — Я думала, я больше тебя не увижу! Леня Розенберг! — произнесла она раздельно, точно пробуя звуки на вкус. — Поверить не могу!

— Здравствуй, Ларочка! — проговорил он, улыбаясь.

— Все, все, пойдем! Я еще рассмотрю тебя хорошенько! — она повела его в столовую, усадила и принялась разбирать и раскладывать фрукты, цветы, конфеты, украшая стол и не сводя с

него восторженных глаз. — Ты голоден? Когда ты приехал?

— Три дня назад, — сказал Розенберг. — Прости, не зашел сразу. Были дела.

— Ах, да, конечно! В начале дела! — она тряхнула головой и засмеялась. — Ничего не меняется! Ты был у своих?

— Нет, — сказал он. — Я думал, завтра.

— Я навещаю их.

— Знаю, — сказал Розенберг.

Ее мать умерла рано. Вот все, что он знал о ней; он быстро свыкся с ее присутствием в их доме, не задумываясь, почему это так; ее любила мать, и этого было довольно. Он видел ее еще несколько раз, когда навещал отца. Он переводил для нее деньги отцу. После похорон он выслал деньги на ее адрес, но они вернусь назад.

Он разглядывал обстановку гостиной — скорее строгую, чем скромную: недорогой гарнитур, белые тумбы, физалис и папоротники, засушенные в высокой вазе, стопки книг, зеркала, стулья с гнутыми спинками, темные занавеси, у стены — покрытое белым полиэфиром пианино Bechstein, на нем — книги и фотографии в серебряных рамках.

— Твой подарок, Ленечка, — сказала она. — Не знаю, что бы я без него делала.

— Сколько ему лет, Лара? — спросил Розенберг.

— Семнадцать, — засмеялась она. — Его недавно подреставрировали. Я даю уроки, Ленечка, как твоя мама когда-то. В училище не хватает часов. И учеников год от года все меньше. Ты же был в городе, видел, как все переменилось? Ты кого-нибудь нашел из приятелей, друзей?

— Нет, — сказал он. — Да я и не искал. Аза жив, Вовка Каратаев в Киеве. Рамзее ушел, Сам охи нет. Шияна похоронили в апреле. Говорят, он уходил тяжело. Я не видел их с тех пор, как уехал.

— Как тебе живется, Ленечка? — спросила она. — Чем ты живешь в Израиле? Что ты там вообще делаешь?

— Не знаю, — сказал Розенберг. Он засмеялся. — Просто живу. Живу, и все. Так живут многие.

— Ленечка, — сказала она. Она не сводила с него глаз, он видел их сквозь дымчатые стекла ее очков. — Ну, хорошо. Ты мне расскажешь потом! Налей мне вина, я хочу выпить!

— На днях встретила Ирку Заславскую, — заговорила она через минуту. — Ну и конечно, вспомнили тебя, Ларису Лазоревну… Ирка все спрашивала, где ты и что ты, а я не знала, что отвечать!

Она тряхнула головой, вздела очки на волосы у лба.

— Дай-ка я посмотрю на тебя, Ленечка!

Привстав, она приблизила свое лицо так близко, что он ощутил ее дыхание, почувствовал сквозь фиалковый аромат ее духов сладкий запах помады. — Господи, сколько шрамов! — сказала она. — Шрамы, морщины, седина, но шрамов все-таки больше! — и продолжила речитативом, без выражения:

Он был тощим, облезлым, рыжим,
Грязь помоек его покрывала.
Он скитался по ржавым крышам,
А ночами сидел в подвалах.

Но его никогда не грели,
Не ласкали и не кормили.
Потому что его не жалели.
Потому что его не любили[13].

Она отодвинулась и села на стул, не сводя с него глаз. Розенберг положил руку ей на колено.

— Не надо, Ленечка! — взмолилась она. — Мы уже стары. Господи! Неужели ты не понимаешь?..

Глаза ее наполнились слезами. Она схватила его руку и поднесла к губам. Розенберг тяжело поднялся, поцеловал ее в волосы и пошел к двери.

Пройдя по Сумской, странно опустевшей к вечеру, он свернул в парк и пошел по пятнам света под фонарями. Надо было поесть, но ему не хотелось на люди. Без малого, сорок лет назад он сумел уйти из дому, снять первую квартиру, потому что в их доме была она — не ученица, не родственница, а духовно близкий человек, некто вроде приемной дочери, проводившая у них дни; с матерью их сблизила музыка, потом он понял, что не только музыка; как если бы у него с матерью существовал уговор: я говорю тебе то, что полагается знать матери, я буду делать то-то и то-то, и не сделаю того, что ты не приняла бы никогда, если не прокляла бы, то осудила в принципе; большего не проси. Женщине не нужно знать больше, мать она или нет, неважно! — Как если бы он сказал ей то, что они знали без слов: у тебя есть мой отец и твоя музыка, и она, а я уж позабочусь, чтобы у вас было все, что нужно, и чтобы то, чем живу, вас не коснулось, обошло стороной. Вы только оставьте мою жизнь мне. — Он даже помнил, как ответил матери: «Да я сбегу от нее на второй день, с ее нотами! Удочери ее, если хочешь. Все равно, она от тебя не отходит. Она золотая девка, верно, но ты посмотри на меня» — Про себя сказав: я и раздеть ее не сумею, просто не поднимется рука. Даже не знаю,

как бы я это делал. И что бы я делал после этого. — А теперь думал в такт шагам, не замечая, что произносит вслух: — Точно. Она права. Ничего не меняется, черт возьми!

Он свернул в боковую аллею, отыскал летний ресторан с плетенным из лозы ограждением под сельскую околицу и китайскими фонарями; усевшись за некрашеный стол, велел принести шашлыки, воду со льдом и стакан, когда официант отошел, налил полстакана виски, выпил, плеснул еще и стал смотреть на вечерние огни, вновь слыша голоса памяти: шум тысячной толпы, валившей вдоль по Сумской, музыку из автомобилей, смех на заднем сиденье, рокот ударных установок, шепот из темноты аллей.

В номер он поднялся с миловидной женщиной средних лет, подсевшей к нему в лобби-баре.

VII

Было свежее прохладное утро, когда он подошел к воротам кладбища. Ворота были заперты, но боковая калитка открыта. Он вошел в просверк солнца и приостановился, щурясь, глядя на огороженный сарай у забора, в котором брали песок, ведра и кладбищенский инвентарь, на водяную колонку, окрашенную в синее, асфальтовую дорожку к колумбарию и первые ряды могил — черных надгробных плит, срезанных на угол, с фамилиями и названиями должностей чиновников обкома и исполкома, с их выгравированными портретами при галстуках и в орденах, как на осколки посмертной доски почета, на памятник городскому голове, плиту и бюст губернатора (усыпальницы городской знати, как говорила мать), на надгробья академиков, художников, артистов, их барельефы и двойные кресты, таявшие в слепящем солнце.

От ворот к боковым аллеям вела центральная, над ней смыкались кроны больших берез и кленов, образуя подобие анфилады. Справа стояли гранитные памятники с барельефами сыну директора завода, убитому в драке, внуку Буденного, расстрелянному в городской больнице лет пятнадцать назад: надгробную плиту украшало изваяние волка. В этой стороне кладбища могилы густо заросли лозой, лиственницами, ельником; в зеленой мге виднелись рухнувшие деревья, поваленные изваяния; но вдоль центральной аллеи, за выкрашенными серебрянкой оградами чинно выстроились памятники с портретами юристов, офтальмологов, главврачей, генеральных конструкторов, ректоров институтов, в большинстве не ухоженные, но еще не тронутые мерзостью запустения.

Розенберг подошел к сараю, убедился, что он закрыт и направился к своему семейному участку. Участок располагался в начале четвертой аллеи, у увитого диким виноградом, фигурного забора, над обрывом, вдоль которого проходил Журавлевский спуск — дорога к Журавлевке[14], бывшей окраине в пойме реки; ее одноэтажные дома в низине были скрытым солнечной дымкой, повисшей над дорогой. В узкий проход вдоль забора обыкновенно складывали ветви и сучья, но теперь ели вплотную подошли к забору и к участку; из их сумрачной сени тянуло сыростью. Соседние могилы были также заброшены: дети похороненных здесь людей, если и были живы, то состарились сами.

Он прошел, разглядывая знакомые, треснувшие кое-где памятники, замшелые могильные плиты, от которых веяло кладбищенским покоем, как от солнечных полян у ворот,

высеченные фамилии, которые память не помнила, но узнали глаза, и остановился перед своим семейным участком за выкрашенной в черное оградой. Внутри стоял большой надгробный камень из гранита с отполированной поверхностью, и на ней были выгравированы фамилии и даты жизни и смерти деда, которого он не застал, бабушки, матери и отца. Под фамилией матери была сделана надпись, сочиненная отцом: «Спи спокойно, наша любовь, наше счастье, наша радость!», под фамилией отца — надпись, которую оставил он: «Спи спокойно и ты, мой добрый и храбрый отец».

Он размотал обрывок целлофана, которым был обмотан замок, сунул его в карман плаща, открыл калитку, вошел, аккуратно положил на декоративную железную скамью, приваренную к ограде, завернутые в намокшую газету розы, купленные дорогой. Затем подошел к камню, прильнул губами к выщербленному краю, чувствуя его вкус на губах.

— Здравствуйте, — сказал он. — Бабушка. Мама. Отец. Простите, что долго у вас не был.

Он постоял, опершись о камень, помаргивая и гладя на солнечную листву вдоль аллеи. Затем посмотрел под ноги на желтый кладбищенский песок и декоративную клумбу, в которой, как и вдоль ограды, были высажены медуница, незабудка, папоротники, аквилегия. Присев на корточки, он достал из-за камня две обрезанные до половины пластмассовые бутыли, тряпки, сходил к воротам за водой, оставив ограду открытой. Вернулся, протер полированную поверхность камня, — вырезанные буквы потемнели от влаги, — спрятал одну бутыль и тряпки, за камень, во вторую поставил цветы; сел на скамейку ограды, отдышался, достал из кармана плаща бутылку, отхлебнул и спрятал назад. Потом посмотрел на дорогу и в зелень над головой, на светотень, игравшую в прозрачном воздухе.

— Я посижу тут с вами, — сказал он. — Мои дела, вы, я думаю, знаете. Детей у меня нет, денег — тоже. Какие-то есть. — Он засмеялся. — Ни денег, ни детей! Ну и ладно. Я же не говорил, что умею жить. Я в Израиле, с темнокожей, ее зовут Гили Шараби. Мне б рассказали, не поверил бы! Вся жизнь уходит, чтобы стать не собой…

Он замолчал и привалился спиной к ограде, следя за игрой солнечных пятен и теней, в которую перешли те, к кому он обращался. Через день после похорон он позвонил санитарке, ухаживавшей за отцом, и отдал ей для мужа отцовское пальто, костюмы, туфли и рубашки, не надеванные ни разу; оба костюма, заношенных до блеска, в которых отец ходил на завод в последние годы, он вынес во двор и сжег вместе с десятитомным

справочником по машиностроению, который отказались взять в институтскую библиотеку, альбомами, чертежами, кальками, грудами других книг. Он не хотел, чтоб в этом рылись чужие, а, верней, потому, что пламя, стихия огня, очищения воплощала для него идею чистого освобождения духа, отягощаемого плотью, тлением; отец, мать, бабушка были кремированы, и урны захоронены, прикопаны; тут упокоился их прах, и останки деда Себе он оставил от отца кронциркуль, американскую логарифмическую линейку, которой отец страшно дорожил, и его кошелек, женский, маленький, в который мать клала каждое утро деньги на обед и на трамвай. Потому что ему никогда ничего не было нужно, подумал он привычно, спокойно, как о том, что принял безоговорочно, смирившись раз навсегда. Мы не рождаемся быть счастливыми и не способны научиться жить, и с этим ничего не поделаешь. Мы просто не умеем по-другому. Мы даже сбежать не умеем.

Он посидел еще немного, без мыслей, чувствуя на лице ветерок, открыл глаза, собираясь встать, и внезапно листва над головой изменила цвет, выцвела, точно просвеченная рентгеном, став радужно-чернильной, полупрозрачной в ревущей черноте, потом цвета вернулись, и грудь пронизала боль такой силы, что он выгнулся дугой. Нечеловеческим усилием, вцепившись в ограду, хрипя, он повернулся, чтобы позвать на помощь, но дорога под обрывом была пуста и только фура одолевала подъем в солнечном мареве. Пальцы его разжались, он повалился на песок, чувствуя его щекой и больше не пытаясь дышать, слыша сердце, забившееся, точно проколотая шина; затем он перестал чувствовать и лицо, и песок и тяжесть тела; песчинки перед глазами стали размытыми, утратили очертания.

Розенберг возвращался домой.

Составитель примечаний

I

Вы и не посмотрели б в его сторону дважды — да кто посмотрел бы, хотела бы я знать. Разве что эта бестолковщина — его жена — то есть, бывшая жена, и бывшая студентка, потому как только студентки и способны на такое: пялиться на его очки и мечтать принести себя в жертву науке, молодому доценту или не пойми чему. А ведь еще надо жить жизнь, между прочим. Эта-то, господи спаси, она-то что могла знать о жизни и чему путевому ее могли научить отец с матерью в этой, прости господи, Костроме, или откуда там она была родом. Одно слово, приезжая. Тонкая такая, тощая. И тоже не от мира сего — так, по крайней мере, казалось, когда она прижимала руки к груди — или к тому месту, где обыкновенно у женщин грудь, и объясняла всем и каждому, кто готов был слушать — а слушали ее не то, чтоб с удовольствием, скорей, с этаким хмурым интересом, с каким у нас, в Матвеевке, слушают пришлых, иногородних — какой он, ее Сережа, умный, прекрасный, образованный и уточненный. И все это было ни к чему — я про ее объяснения. Она словно бы извинялась перед нами за то, что он такой — непьющий, некурящий, нелюдимый, знает какие-то там мертвые языки, латынь — да что латынь — древнееврейский, древнегреческий, и это нам было уж точно без толку. Нам-то на них не говорить. Пусть он и был учености не мерянной — нам-то от этого что? Спрашивается: ну что нам было до его учености, да до чьей угодно учености, когда все это без толку, и никакого отношения не имеет к нашей повседневной жизни, когда прорастает картошка, ничего не достать, на базаре — один Кавказ, и все сидят по своим углам, и о том только и думают, чтобы не было хуже. Вот и она точно извинялась — и за него, и за себя — чуяла, должно быть, что нам он ни к селу, и ее, с ее слабыми руками и вечной тревогой в глазах, тоже, поди, не хватит надолго. Ну, присылали им припасы из Костромы или из Вологды, откуда к нам ее занесла нелегкая, но ведь они поди были бедны, как церковные мыши — Сереженьке ее надо было покупать какие-то книги, которыми их комнатушки, а были у них две, были заставлены до потолка, сесть-то там толком было негде. Она все зазывала нас к себе — беременная, а потом — с грудным младенцем на руках, конечно, когда мужа не было. Но только ведь это было одно: есть он, нет — оттого, что вид у него был, как у хворого. Не как у помешанного, нет, но полностью отсутствующий, будто он общается с тенями или призраками на этих, мертвых-то языках. И все-то мне хотелось спросить: нашим-

то, человеческим он пользоваться, часом, не разучился? Верите, она ему писала бумажки, когда посылала в магазин — и мне, вот крест, по сию пору странно, не то, что он их мог прочесть, а то, что не забывал их вовсе, стоя в очереди, в своей лыжной шапочке: в лице не кровинки, все бессонница, все еженощные бдения за книжками, одет, конечно, так, что без слез не взглянешь, а ведь молодой-то мужчина. Если б он не то, что бумажку — голову дома забыл, я бы удивилась. Там, в его книжках, поди, было не написано, что у него — жена и сын. И — то ли он не прочел этого, то ли ему не сказали — но, похоже, он так и не узнал этого толком. Есть же такие — не от мира сего. Соберите его с книгами и лампой, перенесите за тысячу верст, и, клянусь, он не заметит, если, конечно, не крикнуть ему прямо в уши! Жаль мне было эту бедную Лизу, да как тут поможешь и чем? Это же с самого начала было ясно, что долго-то она не выдержит. И работа у него была странная: составитель примечаний. А звали его — Сергей Павлович. То есть, как я поняла, он в точности знал, что и когда сказал какой-нибудь там Плавт или Сенека — это я наслушалась от нее — ну, и когда печатали какую-нибудь книжку или полное собрание сочинений, до которых нам было дела, ровно что до прошлогоднего снега, он писал к ней примечания да послесловия, так, кажется: и она нам показывала эти книжки — гордилась своим Сережей, значит, а по мне лучше бы попридержала у себя, чем злить людей его ученостью да начитанностью. Он-то с нами не говорил, Что ему, спрашивается, было разговоры разговаривать с нашим окраинным дурачьем, то ли дело плавты и сенеки. Не скажу, чтобы его ненавидели, вреда от него не было, как и проку — если он не отсутствовал в институте в своем свитере-самовязе, со своим ободранным портфелем, значит, квасился в четырех стенах, в своем закуте под лампой, все молчком, обрастая пылью, или они выходили втроем — это, я вам скажу, было зрелище. Точно у этой Лизы было двое детей — один нормальный, живой малыш, а другой — великовозрастный переросток, как бы немой от рождения, щурился все на фонари, точно вышел не из дому, а из лесу. А после — вскоре после того, как мы с ними разделили лицевые счета, больно много электричества жег ее составитель — она взяла мальчика и уехала. Мы думали — к родителям, в Кострому — Вологду или откуда она там взялась.

Это-то и было скверно. Всем нам, бабам, хочется путного мужика, чтоб жить за ним без головной боли, но была она чистый человек, просто молодая и слабая — сразу было видать по ее джинсам, ветровке, по глазам. И ушла она не вдруг. Терпела, значит, сколько могла, может, из уважения к его большой

учености — или боялась, что без нее он пропадет: кто ж ему будет писать записки, поди, небось, удивлялся всякий раз, что хлеб продается в гастрономе.

Но только он не пропал.

II

Нет, он не пропал и никуда не делся.

Больше скажу: года за два до ихнего развода у него обнаружился голос — низкий, негромкий, густой, как у нашего отца Никодима. Сынишка его был еще совсем сопливый, но Сергей Павлович порешил, что тот достаточно взрослый, чтоб ему давать первые уроки. Двери-то в нашей квартире — одно название. И вот, что ни вечер, нам было слыхать, как он ему зачитывал вслух про разных там героев древности, про полководцев и царей, а то часами говорил с ним на своей тарабарщине, поди, на древнееврейском, не иначе. И говорил с ним, как со взрослым (мальчик-то, понятно, молчал, только таращился на него через стол). А Сергей Павлович все-то ему рассказывал, или зачитывал книжку в слух, и было в этом нечто неотмирное — ведь все эти цари да воители тысячи лет как истлели в прах; а раз из кухни мне было слыхать, как он сынишке перечитывает речь какого-то Ганнибала, сперва по-русски, а потом то ли на латыни, то ли на каком еще языке. Я тогда поманила Лизу на кухню и говорю:

— Что ж это твой творит, Лизонька? Он что, не видит, что мальчонка еще совсем шлепогубое дитя, чтобы не то, что понимать — сидеть и слушать такое?

И тут увидела — Сергей Павлович в дверях.

— Вы, вот что, — говорит, — знайте свои кастрюли.

Тут он был прав. Каждому свое, это верно. Самое-то странное было в том, что говорил он про это прошлое так, точно оно и было-то вчера вечером, будто не мог примириться, что оно кануло без следа и никакого отношения не имеет к нынешнему нашему житью-бытью — к электричке и свалке за осыпью, где в небе кружили вороны. Это я потом поняла, что он живет в нем, будто оно никуда не делось: прошлым и в прошлом, раз навсегда, как если б его приговорили к чему-то — великому и не нужному — к какому-то подвигу, что ли, о котором позабыли и люди и мир, а он, знай себе, нес эту память с гордостью, со смирением, зная, что она нам не нужна, но веруя, что понадобится, а если нет — нам же хуже. Много, доложу вам, лет прошло, пока я это поняла ясно. Да что говорить! Сочувствовала ему, есть ведь на свете одинокие души — и причина в том, что они одиноки, есть при них женщина или нет. И уж если он служил своему великому прошлому — книжкам да пустоте — то верой и правдой, не падая духом, не ропща, молчком, говорю я вам, в своем непреклонном одиночестве. Первое время она к нему наезжала — приготовить,

постирать. И приводила с собой мальчика. Вышла-то она второй раз тоже в Москве. Нашла она свое счастье, нет ли, не имею понятия. Только уважала она его не меньше, а больше прежнего. Раз, когда он отсутствовал, она меня зазвала к нему показать, сколько книжек напечатано при его участии: литературные памятники, Тацит какой-то, Плутарх — он мне потом сам показывал, лет через десять. И тоже, как если бы они вышли вчера! Я к тому времени овдоветь успела, выдала дочь за хорошего человека в Митино. Они-то — Лиза с мальчиком — давно уже не навещали его; только я иногда помогла ему по-соседски. Так и время прошло, и прошла жизнь. Только он не изменился — или почти не изменился. Все такой же был, высокий, сухопарый, с блаженным взором и лицом не от мира сего, точно завороженный зрелищем того, как какая-нибудь армянская конница в блеске, да великолепии спускается на заре на равнину, где выстроились легионы Рима. Как-то разговорились мы с ним на кухне, и я говорю: — Сергей Павлович, не в обиду, оно ведь не нужно никому, кроме вас, да хранителей музеев, да вашим студенткам — до поры, до времени, пока не поумнеют и все не перезабудут. — А он мне говорит: — Вы полагаете? Вы в церковь ходите, Любовь Николаевна? — Говорю: — Сравнил! Так ведь то церковь. — А он и говорит: — Ходите, стало быть. Стало быть, верите, что Христос был распят, и мученики претерпели за веру, и вам особой разницы ведь нет, вчера это было или тысячу лет назад, или в начале веков. То есть, иными словами, все эти деяния для вас были, есть и продолжаются во времени, так? — Говорю: — Ну. — А он и говорит: — А почему вы не думаете, что человеческая доблесть и добродетель также живы, как само слово или мысль — и Аристотель у себя в саду изо дня в день проповедует свое учение, потому что оно принадлежит вечности — не времени? Понимаете теперь? — И я говорю: — Вечности. Надо же. Но ведь не может же все принадлежать вечности, а только самое важное, нужное, наверное? — Значит, понимаете, — говорит.

Чуть не забыла. Когда Лиза перестала его навещать, мальчик-то приезжал к нему. Одно время. Так — на час-два, больше-то он не мог засиживаться, путь, видать, был не близкий. Потом перестал. Может, самому надоело, а может быть запретили — отчим там или мать.

III

И, значится, двадцать лет, как копеечка, прошло, прежде чем он навестил отца-то.

Хорошо хоть я была в доме. И, клянусь, на месте его сына — Бореньки — до конца дней обходила бы наш дом десятой дорожкой. Дело не в том, что отец не знал сына, в том, что сынок не знал отца. А знать бы его не повредило.

Я, как-то случаем, кое-что разузнала о нем, хотя верила, что вся его подноготная у меня как на ладони. Чайник на кухне, все словари, все книги штабелями, да еще эта его лыжная шапочка, которой, как казалось, не было и не будет сносу — ну, и, конечно, лампа по ночам, полоска света из-под двери. Дочь Веры Валентиновны — она жила через дом — бухгалтером служила в его институте. Заговорили как-то о нем — и такие она ему запела дифирамбы — заслушаешься! Я у них тем вечером сидела допоздна. Говорит, дескать, если есть на свете подвижник да бессребреник, так это он — Сергей Павлович. Скромный, честный — при его авторитете в институте другой бы уже докторскую защитил, кафедру получил, а он — настоящий ученный, которому все эти распри и склоки ученого мира все одно, что собачий лай. И что студенты на него не намолятся. И что в этом своем академическом мире он чуть ли не мерило, эталон. Хоть и считают его человеком с причудами.

— Это что значит? — говорю.

— Значит, что он — светлая личность, — дочь Веры Валентиновны говорит чуть ли не с раздражением и плохо скрытой досадой. — Обидно за таких. При его знаниях и научных трудах он живет с вами в коммуналке. Вам это о чем-нибудь говорит?

— Что ж, может, ему со мной не плохо.

— Разве что, — говорит. — А вы, например, знаете, что он из дворян?

— Надо же, — говорю. — И что ж теперь?

— Да ничего, — говорит. — Ведь вы присматриваете за ним. Вам зачтется.

— Будем надеяться, — говорю.

Это как раз незадолго перед тем было, когда Боренька решил его проведать в кои веки.

Меня дома не было, когда он явился. А пришла: гляжу из кухни — на столе стоит бутылка непочатая, а оба они, как двадцать лет назад, сидят за столом — друг против друга. И Боря говорит, говорит. Я не хотела, но слышала: рассказывал про свое

житье-бытье. Все как у всех, ничего необычного. Женился. Развелся. На работе склоки какие-то — было б из-за чего — где-то он там инженерил на заводе или в институте научно-исследовательском, а может, в СМУ или ЧМО. То ли его обошли, то ли в ложке воды утопить хотели. Из-за каких-то пятнадцати рублей. Как-то в полголоса говорил, я толком-то не разобрала. Наш Сергей Павлович молчал — разглядывая его близоруко и пристально, как нечто бесконечно удаленное, словно бы между ними не стол был, а, как говорят, полоса отчуждения — с километр шириной, какая-то, прости господи, пропасть. Тот все бутылку подвигал, очень хотелось выпить с папкой. А Сергей Павлович все смотрел — и почему-то я побоялась зайти поздороваться — а, как-никак, помнила его годовалым мальчонкой. И вот еще что: побожиться могла, что не выйдет из их разговора хорошего. И точно: слышу, Сергей Павлович вдруг как-то негромко, но отчетливо и как-то жутко спокойно говорит сыну:

— Вон.

Бедный, тот тоже решил, что ослышался.

— Что? — спрашивает, — Что ты сказал?

А Сергей Павлович:

— Вон, — говорит.

— Так ты что ж, меня даже не выслушаешь? — Боренька спрашивает. — Ну, не хочешь выпить, ладно, не пей, дело твое. Но выслушать, по крайней мере, можешь?

— Вон, — говорит Сергей Павлович. — Вон! Никогда не переступай порог этого дома.

— Да, ради бога, сдался ты мне. — Это Боренька говорит. И поднялся.

И тут Сергей Павлович как завопит:

— Пошел прочь немедленно, слышишь!

Господи, я думала, с ним будет инфаркт! Боренька выбежал на лестницу, как оглашенный, даже бутылку не прихватил, и бросился бегом по лестнице — Сергей Павлович — за ним, этаж за этажом, и кричал так, что у меня заходилось сердце:

— Мерзавец! Ничтожество! Кретин! В твои годы Пушкин писал Онегина! В твои годы Наполеон дрался под Арколе и Риволи!

Насилу я его заворотила. В дом повела — и говорю:

— Тише, ну тише же вы! Соседи ведь слышат! Весь дом слышит!

А он, задыхаясь, говорит:

— Да-да. Конечно. Разумеется. — И вдруг засмеялся, негромко, невесело, опираясь на мое плечо. Так засмеялся, что

мне не по себе сделалось: — Соседи. Конечно же! Соседи! Вы уж, пожалуйста, напоминайте мне о них…..

Небо

Сегодня пасмурно.

Я протер запотевшее окно и, перегнувшись через доску раковины, выглянул из своей, с позволения сказать, кухни на свет Божий — сквозь решетку и частую сетку, загаженную птицами. В просвет между домами, над пышной изгородью в цветах и гигантскими кактусами, видна полоска неба с оттенком желтизны.

Стало быть, пришла песчаная буря из Африки, о которой говорили накануне.

В такой день самое время идти на мост, на котором улица Herzl переходит в шоссе Hayardeen Rd., что ведет в глубь страны мимо индустриального парка и старой промзоны Elezer Kaplan, где снимать попросту нечего. Другое дело — мост. На пути к нему Herzl (мне приятно писать на английском названия улиц) забирает в гору, вдоль лавчонок и закусочных, в которые я люблю заглядывать; по молу проходит дорога на Тель-Авив, небо нарастает с каждым шагом, если умеешь слышать его, как музыку (думаю, некоторые слышат) и как Вагнеровское крещендо, заполоняет все. Тут замечательная точка съемки. Тонкие деревья с безлистыми ветвями над нисходящими грязными фасадами домов, напоминающих тюрьмы или казармы (тем-то они мне и нравятся) выглядят изысканно, как на гравюрах, отчеркивая горчичного цвета туман, в который уходят вышки, провода и строения; лесополоса и башни нового района вдалеке еле различимы; железнодорожные пути под мостом теряются в непрозрачном воздухе, точно ведут в никуда, которое тщатся запечатлеть подражатели Колберта.[15]

В солнечные дни (на моей памяти таких было несколько) пейзаж тут такой же безжизненный — прокаленный, отцеженный солнцем воздух недвижим, белесая, точно присыпанная тальком зелень склонов отливает блеском металла. Снимаешь против солнца, на снимках все размыто, высветлено, пронизано волокнистыми и колкими лучами в радужных бликах, но меня влечет не это — не мимолетное, а выразительное, не размытость, а ясность, не жизнь, а участь (я понял это здесь, поселившись на Hagalil Str., но, как со мной бывает, кажется, знал это всегда). Снимаешь то, что бросается в глаза, чтобы затем разглядеть по-настоящему. Отбираешь у времени, у его полноты и скоротечности. Отбираешь свое. Так я рассматриваю мусорные контейнеры в нишах оград, газовые баллоны, вкопанные под стены домов, темные проходы во внутренние дворы, трисы[16] в

подтеках грязи, столы кофеен, мощенные улицы, груды мусора, буквы иврита. Я их не знаю, но мне нравятся их начертания — нравится, что могу прожить, не понимая их, если сочту нужным (чистое бытие, в котором дни идут за днями, как облака).

Небо я разглядел случайно. В начале, направляясь в центр города по своей Hagalil Str., я видел облака над крышами, величественные, громадные, застывшие в светозарном апофеозе над безликостью фасадов, скорбной и страшной наготой деревьев, над нищетой улиц, над убожеством приютившей меня страны; или то были тучи, в полнеба, мглистые, алые по краям, то застывшие, то гонимые ветром и разодранные разрывами рассвета. Через пару недель у меня вошло в привычку разглядывать облака, а потом я увидал небо, каким не видал никогда — в окно квартиры, выставленной на продажу в Иерусалиме. С год назад в ней умерла румынская пианистка. Посреди небольшой беленной гостиной продолжал стоять рояль, который никому не смогли подарить, на крышке рояля — фотографии в серебряных рамках. Из квартиры вынесли все ценное, но кое-что осталось от прожитой жизни — книга in folio, раскрытая на турецком столике, трюмо в темной спальне у не застланной кровати, отчего казалось, что тело унесли час назад. Трисы повсюду были спущены, открыто только одно окно — и в нем стояло небо, близкое и необъятное, с облаками в синеве, монументальными, как на потолках соборов.

Бывает, в минуте слиты жизнь и смерть и вечность, и я подумал тогда, как же долго я шел к своей!.

Что-то я отвечал провожатой, даме моих лет, глядя на простершийся вдали великий город. Издали он был белым и безжизненным. Без сожаления я вспомнил, как выставил на продажу квартиру, в которой вырос я и умер отец, поняв, что не сумею в ней жить, и она выглядела такой же жалкой. Такой же выглядела моя теперешняя в Москве, когда вещи были собраны, — ее я купил спустя долгие десять лет и сдал перед отлетом китайцам. Все это представлялось теперь начисто лишенным смысла. Абсурдом, как затея продать московскую квартиру, чтобы купить вот эту. Я коротко сказал об этом провожатой; та пожала плечами, но, кажется, меня поняла. И в Иерусалиме было холодно, значительно холодней, чем в Нетании.

На обратном пути я снимал из автобуса, постепенно понимая, чем займу себя.

И вот еще что: в темном салоне израильского автобуса, мчавшегося в закат, я был собой.

Помнится, я смотрел сквозь отражения в стекле на уносившиеся вспять пальмы, пустоши, баки нефтехранилищ, на

высоченные дома вдали, в меркнущем в золотом небе, как сквозь воспоминания, сквозь которые обычно брел по своей новой родине, городу стариков и солдат. Смирения — вот чего мне недоставало, чтобы стать добропорядочным евреем, возлюбившим ярмо Неба, следуя Раву Кахане.[17] «Человек должен держаться только истинных и надежных путей, не отклоняясь от них и не оспаривая их».[18] Ну, еще бы. Восхождение к святости было мне не по плечу, но я рассчитывал выработать какую-никакую пенсию. С китайцами мне повезло больше. Мою квартиру снимают две семьи, я веду дела с китаянкой Машей, кажется, семьи состоят в родстве, но это я позабыл выяснить. В конце месяца мы с Машей сверяем по интернету показания счетчиков, тем же манером я плачу квартплату, за остальные деньги живу, как мог бы жить, скажем, на подмосковной даче. Мои китайцы — крепкие, веселые, с красивыми белозубыми детьми, всегда приветливые, аккуратные в расчетах и работящие, как гномы; кажется, у них один выходной в месяц и они являются домой ближе к полуночи. Они те кроткие, кто наследуют землю, когда их рабский труд покорит мир. Мы, разумеется, и тогда будем полагать, что мир создан ради Торы и народа Израиля.[19]

Такое положение вещей позволяет мне смиренно дождаться израильской пенсии, если решу смиренно дожидаться израильской пенсии, в чем не вижу ни малейшего смысла, как, скажем, в работе охранником (у меня несколько знакомых охранников) или в вызванивании клиентов в мебельный салон; и даже на такую у меня нет ни шанса из-за незнания иврита и возраста — в шестьдесят можете не пытаться искать работу. Так мне сказала милейшая женщина, мой куратор в Министерстве абсорбции, и я не дал ей повода повторять это дважды.

Первый раз в жизни я почувствовал себя свободным — как должно чувствовать себя, если выжил в кораблекрушении и выброшен на одинокий берег; то, чем жил, осталось Бог знает где, если и было, и вдруг все видишь с кристальной ясностью, как если бы внезапно прозрел. Я просто пошел по городу, разглядывая вывески, пальмы, кусты и кактусы в газонах, задние стены в граффити; суданцев, сидящих у столбов; похожие на пустыри парковки; тенты, напоминавшие фаллосы; утварь синагог в окнах лавок. Я вглядывался в ничего не значившие мелочи — в очки с цепочкой на женщине впереди, в колесные сумки стариков, в пыльные израильские флаги, в обноски, сохнувшие вдоль стен там, где полагалось быть балконам, будто силясь запомнить их на всю жизнь, или наоборот, уходя из жизни и не в силах поверить, что все кончилось.

Так я ходил бы до Судного дня, если б не Nikon D4 и линзы.

Я начал с улицы Binyanin, с ее пальм Phoenix dactylifera и Bismarckia, названных, как оказалось, в честь Бисмарка, заглядывая во внутренние дворы, где ютилась жизнь (узкие патио, лавки старья, вывески на иврите и арабском, моторы мазганов[20]на стенах, сырость, трещины, кабели, да клочок неба между домами), прошел улицы Hertzel, HaRav Kuk, Dizengoff и остановился на Smilansky, где впервые снял пальмы на фоне облаков, подобных белым дымам. У себя на Hagalil Str., в «квартире на земле», проще говоря, комнате в цоколе, отделенной от такой же и разгороженной на кухню и ванную (душ, умывальник с ладонь и квадрат зеркала), в которую входил боком, я кадрировал и обрабатывал снимки, на которых все, что видел, обретало завершенность и глубину и смысл — и торопиться мне было некуда. Выходя на рассвете снять кактусы на нашем заднем дворе, высившиеся в мглистом небе, или пурпурные кусты в кисее росы, я видел, каким будет день — и проживал его с небом, вошедшим в мою жизнь, словно лес или море. Я сжился с ним по мере того, как приближалась зима (я прилетел в конце лета) и небо день ото дня оживало: темнели, вздымаясь, облака и наливались сумраком тучи, и битвы света уносились туда, где занималось зарево ночи, а если небо было спокойным, вечерним, печальным, как в русской глуши, я присаживался на каменный забор или скамью и ждал, пока спустится ночь. Я снимал фонари и звезды, луну на синем бархате тьмы, дожидаясь зари. Я понимал, почему образ и цвет вытесняют текст и смысл, и почему язык со своей семантикой объединяет нас, как письменность — китайцев: часами глядя в небо, в бездну над головой, я сознавал бессилие слов что-либо выразить в его жизни; просто смотрел, как оно живет. Скверно бывало ночами, когда лежа без сна, я с утроенной силой начинал переживать то, что давным-давно кануло и сгинуло — как меня женили мальчишкой и как бесновалась мать жены, услыхав, что та ждет ребенка и что она вопила мне в лицо, и я садился на постели, задыхаясь от ярости, а дело было сорок лет назад, дочь давно стала матерью, жила в Америке и мы не поддерживали отношений; я спорил с умершими людьми; что-то доказывал губернатору, которого застрелили лет через пять после того, как он угробил мою первую фирму; вспоминал свой второй развод, и как умирала мать; и как меня увольняли с последних работ после всего, что я сделал. Я понимал, что означает жить прошлым, проживая его вместо будущего; вот от чего меня избавляли небо и чтение за полночь.

Я выкладывал снимки в своих аккаунтах в социальных сетях,

на порталах фотографов, в Google, не пересматривая их неделями, каждый день, как на работе, читая, между делом, американских анархистов и левых радикалов (работа — зло, игру и дар роднит аристократическое презрение к результату).[21] Творчество должно быть анонимным, как лишенная смысла жизнь, если цель жизни — жизнь. Посему, обреченный просто жить, я засунул подальше направления и рецепты своей больничной кассы и вместо того, чтобы выслушивать в очередях истории понаехавших людей (одно и то же, ничего особенного!), принялся снимать страну, без мысли заработать на этом в фотобанках или участвовать в каких-то конкурсах. Мы — старый народ. Ночами, читая всякую всячину, я натыкался на описания эффекта бутылочного горлышка или дрейфа генов[22] у ашкенази и других замкнутых еврейских групп или на рассуждения о запрете кровопролития четвертой заповедью Торы,[23] и это отчасти объясняло, почему старость тут так явна, уродлива и страшна. Дряхление, точно палая листва, было повсюду. Я видел огромные ушные раковины, отвисшие губы, пергаментные руки, пятна и наросты, черепа, бледные, как воск, неряшливые бороды, легкие, как паутина, седые пряди. Я знать не знал, что существует столько устройств, механизмов и колясок для стариков и калек, они бросались в глаза в ненастье, когда на улицах не было почти никого, кроме солдат. Коляски толкали китаянки с лицами эскимосок. Я видел блестящие ободья колес, холмики коленей под пледами, слепые глазницы с ссохшимися веками, окостенелые рты, жизнь, как тление, заповедь, выродившуюся в голый принцип — и никакая Тора не могла объяснить мне, кому и на что такая жизнь?

В такие дни я шел к морю, снимал или, сидя на песке зимнего пляжа, смотрел, как солнце на закате горело, будто расплавленный металл, как гасло небо и золотились отмели, точно мир погибал в конце времен, и ко мне возвращалось спокойствие.

Тогда-то я первый раз пришел на Bus station на улице Binyanin. Мне нужно было поездить самому, не с тем, чтобы понять историю, а чтобы ощутить ее землей под ногами, откликнуться на голоса в крови, те, что я слышал ночь от ночи, и так я шел, ведомый и подгоняемый ими, среди камней и гробниц, дорогами войн и разрушений. Автобус в Иерусалим или Вифанию, бывал полон мальчишек и девчонок в армейской форме, и мне нравилось смотреть на них, разглядывать потертости на их автоматах; а после весь день я снимал в Старом городе или в Кедронской долине,[24] в Кесарии, в Галилее; добрался до Масады и Гамалы,[25] до каменного плато с далеким

небом над Мертвым морем, до склонов с оливами, где праотцы были земледельцами и пастухами, пока не пришли эти сволочи со своей солдатней — и дальше, до шоссе девяносто восемь, к заснеженным предгорьям Галан, где танки и машины войны Судного дня [26] ржавели вдоль дороги, в высокой траве Долины Слез.

От отца у меня остались дипломы, письма с фронта и увешанный орденами пиджак, от деда — приглашение на Сталинский парад, расписка музея, в который мать нехотя отдала его орден Ленина, грамоты ВЦИК и Уборевича, фотографии, тут же ксерокопированные в консульстве; от прадеда Нафтулы, которого большевики пустили по миру с шестерыми детьми — его портрет, фото его красавиц-дочерей — моих теток, и деда по отцу, заготовителя скота после чисток тридцать пятого года, не нужные после меня никому, но, что бы там не писал Герцль о напрасном *(«Напрасно мы верны и готовы на все, а в некоторых странах даже чрезмерные патриоты; напрасно жертвуем мы им своею кровью и достоянием, подобно нашим согражданам; напрасно трудимся мы, стремясь прославить наши отечества…»)*[27]; мы были кем-то всегда. С приходом ливней у меня выдалось время поразмыслить об этом, как, впрочем, обо всем остальном. Пиджак отца я завесил с моими костюмами, и иногда, когда дождь долгими часами шумел за окнами, трогал его залоснившуюся ткань, спрашивая себя: куда она делась, жизнь? — и, кажется, лучше понимал эту нашу тоску по Храму, по дому Божьему на обезбоженной земле, взыскующую не Храма, а смысла.

Такой же пиджак с орденами я видел под стеклом в Общественном центре на Solomon Str., в пыльном помещении над маркетом, в котором ютились социальные работники, библиотека дареных книг и вывешивались объявления о вечерах русской общины. Я мало говорил с людьми — по большей части, с продавщицами в русском магазине, с маклером, расселившим меня на Hagalil Str., как-то разговорился с сантехником, обслуживавшим наши дома; я, помнится, был потрясен количествам лавок на Via Dolorosa,[28] и он не мог взять в толк, что до этого мне?

Я обзавёлся колесной сумкой, с которой отправлялся на рынок, где продавцы вопили о скидках перед Шабатом, проталкивался среди русских, друзов, марокканцев, африканцев, бежавших от Ливийской резни, французов, понаехавших сюда, когда Париж заполонили арабы, и понимал, почему мне близки события и чужды люди.

Воля моя (если это воля) организована так, чтобы примирять с неизбежностью; я знал это за собой всегда: запертый в камере

милиции (куда мать в воспитательных целях отвела меня за дурацкий мальчишеский проступок), я вдруг осознал, что без боязни готов к тюрьме, которой мне грозили, и к неизвестности, что за ней, не дорожа ни домом, ни двором, где незнакомый мужчина велел мне стащить бутылку вина из ящика в грузовой машине, ни матерью, ждавшей с сержантом моего покаяния и слез. Тут ничего не поделаешь. Я — порождение двухтысячелетнего Изгнания, и у меня нет ни малейшего желания *«бежать от этой пугающей правды».*[29] *Я* не пожертвую ни цельностью, ни личностью духовному статусу и избранности, потому, что создан так, а вероятней оттого, что на такое не способен никто! *«Ярмо Неба проявляется в том, что мы откладываем в сторону нашу волю и ставим на ее место Его волю, потому что Он есть истина».* Этого я не понимаю и не могу, и глубоко убежден, что Небо простит мне так же, как благороднейшему Натану Штраусу.[30] *«Только цудаизм и ничто кроме него дает евреям моральное право и обязанность гордиться своей отделенностью и гордо заявлять: „Я еврей!“».* Ну что ж. Стало быть, я проживу дни мои на Hagalil Str, не гордясь своей отделенностью, в молчании, с собственным представлением об избранничестве, старясь, смотрясь в зеркало (в котором лицо пожилого мужчины все реже напоминает мое), выкладывая на порталах фотографии закатов и задворок, воплотившие мое восприятие мира, зная, что оно — это я. Сакрально искусство, воплощающее идеи и образы Божественного, и, слыша Небо, не спрашиваешь, слышит ли Оно тебя. Делает ли это меня нееврем? Вероятно. *«Нееврей не имеет части в Земле Израиля. У него нет в ней ни права владения, ни гражданства, ни судьбы. Если нееврей хочет жить в Израиле, он должен принять основные человеческие обязательства. В этом случае он может жить в стране как пришелец, но никогда — как гражданин с правом на собственность и политическим влиянием, никогда — облеченный властью над евреями, дающей ему право участвовать в управлении страной. Он может быть лишь гостем с правом проживания, но без прав гражданина и возможности влиять на дела страны. И вот тогда его нельзя ни угнетать, ни обижать. Тогда должны обходиться с ним дружелюбно, лечить его от болезней и заботиться о его нуждах. Тогда мы должны проявлять к нему ту же доброту, что и ко всем человеческим существам, таким как те неевреи, которые окружали нас во времена нашего собственного изгнания. Тогда он будет иметь личные, экономические, культурные и общественные права в рамках закона Торы. Но национальные права, дающие ему права высказываться по поводу структуры и характера государства — никогда!»* Что ж, я сам не сказал бы об этом лучше.

В самом деле, моего деда не было среди людей Бен-Амми[31], приплывших, чтобы основать этот город, живущий так, будто меня и нет, я же не чувствую себя обделенным: я ни на что не надеялся и не утрачу то, что не сумел полюбить.

Вот что, в конечном счете, делает меня тем, что я есть.

Буря уйдет после полудня (кажется, так уже было в другой жизни, в ином сне); небо утонет в синей дымке и вечерняя заря канет в алом зареве заката, или циклопические облака вздыбятся под порывами ветра, пронзаемые пылающими лучами, прожигаемые озерами огня, если на море разыграется шторм; и я, наконец, решу выйти из дому. Город безлюден в ненастье. Чем ближе Kikar HaAtsmaut, крошечная городская площадь с памятником еврейскому оркестру (флейта, барабан, контрабас), нашей местечковой нищете, тем яростнее задует между домами ветер. Надо добраться по HaPishomin Prominade, к точками съемки, мимо фонтана, камней и пальм, мимо порталов и окон отелей, к платформе элеваторов, вдавшейся в небо, пылающее как в день Потопа, к лестнице, нисходящей к крыше кофеен, пляжу и дощатым домам береговой охраны у самой кромки берега, где гряда камней образовала лагуны, в которые заходит волна. А еще лучше спуститься на помост, куда суданцы предусмотрительно снесут стулья и шезлонги, чтобы мне без помехи снимать мои апокалипсические картины.

Это и есть моя жизнь. Если подумать, она не так уж плоха.

У самых ворот

I

Прошло два года, и в нашем городе все сошлись во мнении, что Мишка был ненормальным, но ненормальным он не был, во всяком случае, не больше нас. Вы сотню раз видели Мишку, а если не его, то парней, похожих на него и друг на друга так, словно когда-то одного из них размножили на манер грампластинки или майки с рисунком. Если вы житель нашего города, если душными летними вечерами вам негде прочистить легкие от никотина, кроме как в Центральном парке или в сквере против бара городской гостиницы, вы знаете, о ком я. Вы проходили мимо них по остывающему от дневного пекла асфальту аллеи, что ведет в глубину парка, будто в само прохладное и непроглядное темное гигантское чрево ночи, а если дело было днем, когда тень — спасение, а воздух горяч как дыхание домны, вы могли хорошенько разглядеть их лица, их медальоны, их намокшие от пота и прилипшие к ребрам рубашки, никелированные цепочки на их запястьях, их вылинявшие от стирок джинсы на узких боках, их мягкие спортивные туфли, но так или иначе вы шли мимо них, днем — торопливо, потому что днем вы заняты, а вечером — тоже торопливо оттого, что кругом ночной хаос и вековечная песня города, и вас не раз предупреждали, что в заднем кармане джинсов у одного из них может оказаться бритва. Может, вы шли не спеша, чтобы не показать вида, а, может, знали, что вы им не нужны?

Но Мишка никогда не носил бритву. Он таскал с собой карты и держал их не в заднем кармане джинсов, а в руках. Мишкины карты по сей день у меня. Я храню их вместе с вырезкой из газеты, где он сфотографирован во время боя с Ваней Кравченко. Бой он проиграл, с боксом у него тогда шло под занавес, он тренировался по большим праздникам, дней за десять, а иногда и за неделю до боев являлся в зал, и в тот раз наш наш тренер Семен Донде шипел на него из угла. Шипел — иначе не скажешь, ведь он знал за тобой, что в бою не входишь в раж и в состоянии слышать, он весь подавался вперед, выбрасывал вперед седовласую коротко остриженную голову и цедил сквозь зубы так, что судьи не слышали его: — Взвинти темп! Взорвись! Убей черта! — Или: — Осел, сто чертей твоей матери, ты что, забыл, как бьют по животу! — и в ровном свете прожектора над рингом седая голова его блестела так, точно вместо волос на ней росла сталистая проволока. Так и в тот раз, когда Мишка дрался с Ваней — из-под обоих только искры не сыпались — и к концу второго раунда стало ясно, за кем бой, он наклонился вперед и

зашипел, негромко, я еле разбирал слова, но Мишка потом сказал, что слышал так, как если бы Донде орал ему на ухо: — У меня был боксер Полонский, а теперь он мешок! ты меня позоришь, негодяй! — и Мишка ударил, трахнул так, что попади он — у Вани, наверное, голова бы оторвалась. Так их и заснял для газеты тот старичок со своим блицем.

А после, когда Мишка сидел на скамейке в полутемной раздевалке, безмолвный и безучастный, как заглохший мотор, Донде стоял над ним, помахивая полотенцем, и преспокойно, вроде речь шла о погоде, клял Мишку на чем свет стоит, втолковывая ему, что такие физические данные от бога достались одному ему, дураку, Мишка повернул ко мне разбитое, залитое потом лицо и едва заметно подмигнул. И, помню, я еще подумал, что отдать бой Ване Кравченко не самое страшное из того, что может случиться с человеком.

Не то, чтобы Мишка был не от мира сего. Чем-то он напоминал кошку, когда та пересекает по солнцепеку дорогу от мусорника к палисаднику. Когда он не спеша направлялся к вам, подбрасывая на ладони спичечный коробок, могло показаться, что он делает вам одолжение и что это одолжение дьявольски дорогое. Это если не знать Мишку как следует, но я-то его знал. Во всяком случае, тогда думал, что знал.

Он никогда не приходил вовремя, мог опоздать на сорок минут, мог и на три часа, но приходил всегда, когда эти сорок минут или три часа истекали, а, заодно, иссякало и чьё-то терпение, и кто-то из нас гасил сигарету о гранит парапета, спрыгивал на тротуар и рассерженно сбивал с джинсов мелкую, как пудра, пыль, он непременно появлялся в конце улицы в расстегнутом замшевом пиджаке, лоснившемся на локтях и на лацканах, с картами в руках и шел к нам сквозь толпу размашистым, быстрым шагом, от которого захлестывались широкие штанины его джинсов и полы пиджака разлетались. А потом, когда он подходил к нам, и все мы спрыгивали на тротуар, он сразу брал кого-нибудь из нас за руку. Да, можно было костить его почем зря, грозить, что в следующий раз он точно получит в зубы, но толку в этом было не больше, чем в том, чтобы орать на часы за то, что они отстают. Потому, что он стоял перед вами, держал вашу руку в своих ладонях, смотрел вам в глаза, улыбался и ждал. И мало-помалу вы понимали, чего он ждет, и вы замолкали, а тогда он доставал из кармана карты и начинал делить колоду пополам и врезать одну половину в другую. Он мог молчать весь вечер, только карты с сухим треском перемещались у него в руках, а движение рук не прекращалось ни на минуту.

Свой пиджак он выиграл у Жени Сошина, пиджак был совсем новый, Сошин надел его раз или два и предложил разыграть, когда у него кончились наличные. Помню, они стояли в подъезде — две синие тени на желтой стене — пыльная лампочка на коротком витом шнуре ровно и больно светила над их головами, и карманы Мишкиных джинсов оттопыривались от смятых бумажек. Сошин сказал: — Хочешь, разыграем пиджак? Я купил его у финна в Питере. Можешь оценить его в полтораста и метать. — И Мишка сказал: — Пошло. — И Соитии сказал: — Может, сначала примеряешь? — И Мишка ответил: — Мое от меня не уйдет.

В тот год он почти не проигрывал, а, может быть, не проигрывал вообще, ведь карманы пиджака всегда топорщились. Стоило ему достать платок или пачку сигарет, он непременно ронял несколько смятых пятидесятирублевок, наклонялся за ними, поднимал, потом высовывал кончик языка и облизывал запекшиеся губы. Как-то раз он пропал, и в те два дня Алла Афанасьевна, его мать, чуть с ума не сошла от страха — это случилось за полгода до того, как она пригласила меня к ней в училище, а там сказала, что Мишку надо спасать: я нашел его в гостинице на площади, в номере люкс, в самом большом и дорогом номере с цветным телевизором в гостиной и аквамариновой плиткой в ванной, но в то утро номер меньше всего походил на люкс, в номере было не продохнуть от сигаретного дыма, и малиновый ковер на полу был сплошь усыпан пеплом, а на роскошной кровати расселось человек восемь грузин из тех, кто торгуют тюльпанами. Они переговаривались вполголоса, цокая, харкая, прищелкивая языками, и все глазели на стол; за столом против Мишки сидел жирный и важный грузин в шелковом халате на голое тело; когда горничная завела меня в их номер, он взял со стола сифон с газировкой, облил себе голову и грудь и сказал: — Сдавайся, Миша, такие партии даже русские сдают! — и только тут я увидел, что они вовсе не в карты играют, а в нарды.

Но я тогда не знал, что это нарды. Я просто стоял у Мишки за спиной, смотрел на доску, инкрустированную перламутром и костью, на костяные фишки, на кубики и думал, что, наконец-то, он проиграл, и Алла Афанасьевна может успокоиться, а заодно и все мы, потому что сроду этих нард не видел и знал, что он тоже не видел, во всяком случае, не носил в кармане, не вытаскивал на людях, когда ему нечем было занять руки. Помнится, они кончили партию, Мишка достал из кармана засаленную сторублевую бумажку, расправил, положил на стол рядом с доской, поблагодарил и поднялся; помню, идем мы по коридору,

и я спрашиваю, сколько он оставил тому грузину в халате, а он говорит: — С чего ты взял, что я проиграл? Ошибаешься, братишка, я не проиграл. Скажу тебе больше: я даже немножко выиграл, — и вынул из кармана пригоршню таких же замусоленных сторублевок, расправил их, сложил вдвое и спрятал в нагрудный карман рубашки, все восемь.

Ясно, я думал, он матери даст хотя бы половину, но он сказал, что мать ни за что их не возьмет. Так что мы пошли в универмаг, купили Димке, его брату, велосипед, купили матери складной японский зонт и набор для маникюра, а после зашли в комиссионный, и там он купил портативный стереомагнитофон мне в машину. Не знаю, почему, да только деньги всегда жгли ему карманы.

Незадолго до того, как мы познакомились, я вернулся из армии. Оттрубил два года, сперва в Остре, потом — в дивизионе. В спортроту я не попал, но еще в учебке, в Остре, один сержант сказал мне, что это к лучшему: «Механик-воитель, — говорит, — на гражданке устроиться шофером может запросто, а мастер спорта после тридцати, кому он нужен?» Там, в армии, я еще не думал о куске хлеба, оно пришло потом, а я решил так: демобилизуюсь и отгуляю месяца два, это чтобы оглядеться, ясно?

Неделю я отсыпался за все утренние поверки разом, за все ночи в парке, в машинах, в нарядах, когда я давал себе зарок, что, как вернусь, неделю не подниму головы с подушки, а после — теперь время было целиком моим, а не сорок минут личного — я достал со шкафа сумку, сложил в нее капу, боксерки, бинты, форму и полотенце и отправился в зал, хотя знал, что по-настоящему драться больше не хочу, а иду туда по старой памяти. Там мы и познакомились.

Первые два месяца я только и делал, что спал, гулял по городу да ходил на тренировки. Два года — изрядный срок, даже в зале я это чувствовал. Когда меня призвали, моя сестра вышла замуж, а когда я вернулся, ее малышу шел пятый месяц. И раньше мы с ней не особенно ладили, но раньше у отца с матерью нас было двое, а теперь стало четверо: она, ее сынишка, Сева — ее муж и я. Сева этот был тихий худощавый парень из тех, кто помешаны на технике, а в свободное время подбирают аккорды по самоучителю для игры на гитаре или женятся на шалых красотках, которым надоело вертеть задом на танцах и захотелось печать в паспорт. Он в ателье по ремонту телевизоров работал, зарабатывал дай бог нам, но раз ему нравилось под каблуком у сестры, мое дело было пятое. Сразу после моего возвращения у нас с ней состоялся разговор. Она меня спросила, почему я не

остался на сверхсрочной?

Говорю: — А зачем мне было оставаться?

— Ну как же, — говорит. Знаете, как женщины говорят такое, когда кажется, что на уме у них одна забота — о вас. — Платили бы тебе там хорошо, на всем готовом и вообще.

— Ступай на сверхурочную сама, — говорю, — раз там так хорошо платят. Будет тебе мало, я приплачу. Из тебя такой старшина выйдет — цены тебе не сложат, поняла?

— Думаешь, выйдет? — говорит. И смеется.

— Ага, — отвечаю, — думаю.

Приятного в этом было, сами понимаете, мало. А дней через пять за ужином она и говорит уже при всех: — Сева, Андрей Черных — твой приятель, устройте Витю на радиозавод. Там ему квартиру отдельную дадут. Там ведь быстро дают квартиры?

Они промолчали. Все, даже мать. Но после ужина — даром, что оно мне сестра, на четыре года старше и замужем — пришлось мне ее в свою комнату втолкнуть. Я дверь поплотней прикрыл, повернулся к ней и говорю: — Прекращай заниматься моим трудоустройством и отселением, не то я тебя мигом приведу в чувство. Слышишь ты, кормящая мать, я тебе не твой Сева! Этот дом мой такой же, как и твой. Я живу здесь по праву. Разве я вам мешаю?

— А разве не мешаешь? — говорит.

Тогда я подошел к ней вплотную. Говорю: — Уйдем мы отсюда только вместе, запомни, но если кто-то уйдет первым — это будешь ты.

— Не уверена, — говорит. И смеется. Потом говорит: — Тронешь меня пальцем — получишь год. Только ударь меня. Только ударь.

— А, — говорю, — вот оно что. Это ты славно придумала.

— Знала, что оценишь, — говорит.

— Ну, вот что, — говорю, — с женщинами я не воюю. Но я найду парикмахершу или официантку, словом стерву похлеще тебя, женюсь на ней и пропишу в своей комнате, а тогда ты узнаешь, где зимуют раки. Может мне за это тоже год полагается? Ты узнай.

Смеяться она перестала, какой там смех. Пожалуй, я пошел бы на радиозавод, поговори она со мной иначе. Если человек вздумал на меня переть, я ему на первый раз спущу. Но во второй раз от меня такого не жди. Беда в том, что они с малышом жили втроем в одной комнате, а когда люди живут втроем в одной комнате, им не приходится выбирать.

II

Тот сержант из Остра оказался прав: демобилизовался я в начале апреля, а в начале июня уже сидел за рулем белоснежной двадцать четвертой «Волги» — тачка эта прошла каких-нибудь семь тысяч и работала как часы. Нет такого, чтобы человек на свет рождался руль вертеть и нажимать на педали, и сказать, что вы мечтали об этом, можно, разве что, в школьном сочинении, да и то в классе восьмом, но я водил не какую-нибудь поливалку, а настоящий лимузин с красными чехлами на сиденьях и вентилятором на приборной доске, так что мне повезло, а кроме того, управляющий, которого я возил, души во мне не чаял, так что мне повезло вдвойне.

В машине человек самим собой становится, это всем знакомо. Дмитрий Сергеевич, управляющий нашим трестом, всегда садился на переднее сиденье и поминутно поглядывал то на меня, то на спидометр, то на дорогу. Он страдал одышкой, все вытирал лицо и шею батистовым платком, а еще его мучили отрыжки, потому что у него была больная печень. Если он нервничал или злился, то молчал, и отрыжки донимали его чаще обычного, а если нет, то болтал со мной, прижимая к животу плоский портфель одной рукой, другой отирая лицо и шею платком поминутно поглядывая то на спидометр, то на меня, то на дорогу. Бывало, я включу зажигание и смотрю, как он бежит к машине — воротник рубашки и пиджак расстегнуты, узел галстука мотается на груди, потом плюхнется на сиденье, оботрет лицо и, задыхаясь, говорит: «Витя, голубчик, через семь минут в исполкоме заседание, все горит и пропадает, жми!» — Это он говорит, когда мы уже мчим по проспекту и на спидометре у нас девяносто, чудила.

Так вот, значит, когда ему нужно было, чтобы я свозил его жену на рынок или еще что-нибудь в этом роде, мне полагалось быть под рукой, а за это я мог пригнать машину в гараж хоть в полночь, и никто не задавал мне вопросов. Если он говорил, что я нужен ему в таком то часу, это означало, что я могу подработать, подвезти пассажиров от вокзала до восточной окраины, а если он ничего не говорил, тогда я сидел в машине, слушал приемник и ждал, когда он выскочит на ступени. А я ходил за этой тачкой, как если бы она была моей.

В то лето Мишка ездил со мной, пока Донде не забрал его на сборы. Вечерами я подъезжал за ним к парку, спортзалу или к институту, и мы допоздна колесили по городу, часами говорили или часами молчали, ведь никто не умел молчать так, как он. А

после я отгонял машину в гараж, мы делили пополам деньги, что выручили за вечер, и пешком возвращались домой.

Мишка жил в захламленной, обветшалой, неопрятной квартире на втором этаже мрачного довоенного дома в конце узкой, каштанами обсаженной улицы, начинавшейся у площади. С ним жили бабушка по матери и два его деда — дед Афанасий и дед Яков. В их квартире царил неизбывный полумрак, запах лекарств мешался с едва ощутимым запахом тления, источаемым кипами газет, хранившихся в коридоре на антресолях, громадных и бездонных как провал в памяти. Дед Яков собирал газеты весь год, в канун января перевязывал их бечевкой, взбирался с ними на антресоли по стремянке, а после, перемазавшись в известке и в пыли, долго спускался вниз. Он был очень стар, очень близорук, стекла его очков, толстые и выпуклые, напоминали наполненные водой линзы допотопного телевизора и крошечные вечно слезящиеся глаза казались из-под очков огромными. Однажды, когда Мишка впервые привел меня к себе, и его бабушка поставила передо мной тарелку с вареной картошкой и селедкой, дед Яков проворно протянул руку, схватил картофелину с моей тарелки и спрятал в рукав халата — так в первый и, кажется, в последний раз я видел, как Мишка покраснел. Помню, он тронул меня ногой под столом, и я, как ни в чем не бывало, взял вилку, а через полчаса мы вышли на улицу, я оглянулся и увидел, что дед Яков стоит на балконе, накрывшись с головой линялой бархатной скатертью. Мишка оглянулся следом за мной, ткнул пальцем в деда и сказал: — Ему интересно, куда мы пойдем. Представляешь, он думает, что его не видно!

Так вот, годом позже, когда Мишку отчислили из института за игру в карты на лекции, дед Яков послал письмо маршалу Гречко, где писал, что воевал в коннице Буденного, и просил не призывать Мишку в армию, а дать ему возможность доучиться в институте — ну так вот, когда на имя военкома пришел ответ из Генерального штаба, Женя Сошин стремглав соскочил с парапета, на котором мы все тогда сидели, и заорал на всю улицу: — Кто сказал, что дед Полонского сумасшедший? Это же гениальный дед!

Много позже я думал, что дед Яков всё-таки зря беспокоил маршала, лучше бы он оставил все, как было, лучше для Мишки, для меня, для всех нас, но тогда я спрыгнул с парапета следом за Сошиным, и не прошло минуты, как мы все сидели в двух такси и мчались к бару, чтобы выпить за деда Якова, за конницу Будённого, за маршала Гречко и за Генеральный штаб.

Вот так вот Мишка очутился на заводе, работал в цехе горячего литья полгода, чтобы восстановиться в институте, но по

мне ему не надо было восстанавливаться, да и работать тоже, а что ему надо, не знал никто. Родители твердили ему, что пробиться в жизни можно, только занимаясь с утра до ночи, он отвечал, что заниматься ему не нужно, раз он не занимался никогда. Не то, чтобы он вообще не занимался — дня за два, а иногда и за день до экзаменов он отправлялся в читальный зал, и не было случая, чтобы он не сдал на стипендию. Вот и выходило, что двух дней ему было вполне достаточно на то, на что другим по полгода полагалось, а иногда не требовалось и дня, а иногда и двадцати минут хватало. Сказать, как карты попали к нему в руки? В то лето, когда мы с ним познакомились, он часто ждал меня в парке — там, что ни день собирались старички и тому подобная публика сыграть партию-другую в шахматы или в шашки, и если меня долго не было, он предлагал им сыграть: давал шашку форы и садился к противнику спиной. Кончилось тем, что играть с ним отказались наотрез, но еще раньше к нему подошел Саша Галичев и говорит: — Миша, а в карты выступить не хочешь? Можем сразиться рублей по десять, это ведь не шашки, чтобы играть по рублю. — А Мишка поглядел на него и говорит: — Ладно, объясни мне правила, и я тебя обыграю.

Не знаю, зачем ему надо было играть с теми старичками, сидеть к ним спиной и обдумывать каждый ход, может он развлекался на свой манер, просто дразнил их точно так же, как подначивал девчонок, вечно околачивавшихся в холле перед баром, но так или иначе, я находил его в аллее, в окружении толпы пенсионеров и зевак, сидящим к противнику спиной и уставившимся поверх толпы туда, где стремительно сгущались сумерки. Я останавливался перед ним, клал ему руку на плечо и говорил: — Ну ладно, хватит. На тебе рубль, заплати им и поехали. — И всякий раз он обращал на меня сонный и невидящий, точно в самого себя устремленный взгляд, и шептал: — Погоди, погоди, погоди…

Одно время его манера тасовать карты на улице выводила меня из себя, да только он всегда был начеку, всегда успевал отскочить или увернуться, а когда я говорил: — Спрячь их, дуралей! Что ты держишься за них как черт за душу? — Он неохотно опускал их в карман, чтобы через пять минут вытащить снова. Раз я послушал, по каким кушам он играет, а после в машине говорю: — Объясни, как ты можешь играть партию по двести рублей? Они есть у тебя, эти двести? — А он отвечает: — Неважно. — И я говорю: — Погоди, положим, это неважно, ну а у деятеля, с которым ты играл, они есть? — А он отвечает: — Не имеет значения. — И я говорю: — А, черт, ладно, пускай не имеет, но если ты проиграешь эти двести? — А он: — Ну тогда мне

попадется другой, с деньгами. — Я говорю: — Черт побери, я не про то, кто из вас кому и когда попадется, но если ты проиграешь тысячу или две, что тогда? — А он и говорит: — Ты едешь на красный свет, следи за дорогой, Витя.

Да, проку в этих разговорах было не больше, чем в том, чтобы ждать его в гостиничном номере, в задней комнате бара, в чьей-нибудь квартире, словом там, где имелись стол, два стула, чистый лист бумаги, шариковая ручка и партнер, а иногда не было ни стола, ни ручки, и тогда я ждал его у скамейки в сквере или у подоконника в подъезде, иногда на руках его партнеров красовались татуировки, иногда — золотые перстни с монограммами, но так или иначе, я стоял у него за спиной, смотрел на его высоко поднятую черноволосую голову и слушал вкрадчивый убаюкивающий шепот: — Погоди, погоди, погоди…

А после мы, бывало, выйдем на улицу, в запахи жасмина и асфальта, в бензиновую гарь, я включу зажигание и сдам назад, чтобы развернуться в узком переулке и сразу вдавлю в пол педаль газа, чтобы мотор под капотом взвыл, как пес на цепи, Мишка включит магнитофон и салон моей снежинки огласят голоса Creedence или Deep Purple,[32] и мы мчимся среди жарких ночных огней, и я чувствую, как нечто, чему нет названия, теснится, ворочается в моей груди — оно, это нечто, заставляет руки сжиматься в кулаки на руле, заставляет гнать машину вперед, как если бы за нами была погоня, как если бы я украл или убил, а ведь я к тому времени никого не убил.

Помню, в конце осени Алла Афанасьевна попросила меня прийти к ней в училище, а как я пришел, выпроводила ученицу, повернулась ко мне на винтовом табурете и говорит: — Витя, прости, что пригласила тебя не к нам. Это я нарочно, чтобы Мишка не знал о нашем разговоре. Ты Мишке друг, ты должен мне помочь. Скажи, в последнее время ты не замечал за ним ничего странного?

— Вроде бы нет, — говорю — не больше, чем всегда.

— Витя, поверь, разговор останется между нами, — говорит. — Думаешь, я не знаю, чем он занимается? К твоему сведению, я давно догадывалась, а вчера мне позвонила приятельница и сказала, что Мишка обыграл ее сына. Вот до чего дошло.

— Зачем же сын вашей приятельницы играл с ним? — спрашиваю.

— Это неважно, — говорит, — своим сыном пусть она занимается сама. Меня волнует судьба моего сына!

— И давно она вас волнует? — спрашиваю.

Помню, как сейчас: сидит себе, облокотясь на крышку рояля,

а как сказал, вся вспыхнула, выпрямилась и отбросила волосы со лба.

— Что ж, отвечу тебе, — говорит. — Мишке и пяти лет не было, когда я заболела тяжелой формой энцефалита, потом родился Димка, и я была вынуждена, слышишь ты, временно поселить Мишку у матери. Как ты знаешь, в наших двух комнатах и повернуться негде. Я сознаю, что за многое вина лежит на мне, но я ума не приложу, откуда, почему у него это ужасное увлечение! Мой Мишка! Он же невероятно способный человек, даже одаренный, так ведь?

— Еще бы, — говорю.

— И ты понимаешь, что он себя губит?

— Еще бы, — говорю, — как тут не понять.

— Но раз ты понимаешь, куда он катится, скажи, что у вас общего, какие интересы?

— Пожалуйста, — говорю, — только не подумайте, будто я на что-то намекаю, у меня этого и в мыслях нет. Вот вы говорите, что болели и всякое такое, но вы отдали его двум полоумным старикам и ждали, что он вырастет цацей. У меня дома стариков нет, но есть свои причины бывать там пореже. Знаете, никому, кроме вашего Миши, не интересно, обут ли я, одет ли, здоров или нет, и бренчит ли у меня что-нибудь в кармане. Хотите — называйте это общими интересами. Вам оно не нравится, его времяпрепровождение, мне оно тоже не по душе, а вы что предлагаете? Общественность привлечь или нам почаще в филармонию ходить или, может, на стройку уехать?

— В посещении филармонии нет ничего дурного, — говорит. — На свете есть много достойных занятий, это я знаю. А еще я знаю, что теперешнее его занятие недостойно ни его, ни любого нормального человека. От всей души надеюсь, что это возрастное, и он перебесится, но если нет — он плохо кончит. Ты понимаешь, что его надо спасать?

— Ясно, — говорю. — сделаю все, чтобы он бросил играть, обещаю вам. А в остальном я могу не больше вашего. Ну я пойду?

Но, оказалось, я мог вообще не давать обещаний, не ездить к ней в училище, не стоять перед ней, мусоля в кулаке сигарету в ожидании, пока выйду и закурю, потому что дня через три после нашего с ней разговора Мишка сказал, что не сумеет выехать со мной, что не хочет показываться в городе.

— Слава тебе, господи, наконец-то, — говорю, — Ну-ка повтори, а то, похоже, я ослышался. Что это на тебя нашло?

А он и говорит: — Ничего особенного. Просто мне лучше некоторое время не появляться там и все.

— Само собой, — говорю, — конечно лучше. За учебники

засядешь. Ведь если тебя еще раз исключат, ООН — и та не поможет.

А он говорит: — Не в том дело. Просто я немного задолжал.

— Тоже неплохо, — говорю. — Должен — так отдашь. Может, хоть это тебя образумит. Сколько ты должен?

А он и говорит: — Какая разница? Могу с тобой поехать, если не будешь возить пассажиров через центр.

— О, — говорю, — ты что же, думаешь, за твой проигрыш тебя из машины на ходу вытащат?

А он говорит: — Всякое бывает.

— Погоди, погоди, — говорю, в точности как он, — ты что, столько должен, что отдать не надеешься? Ладно, мой пиджак стоит двести, джинсы — столько же, дома у меня три сотни отложены. А у тебя что, совсем ни копейки?

А он говорит: — Есть какая то мелочь, рублей полтораста, кажется.

— Ну вот, — говорю, — счастлив наш бог. Считай, тысяча у нас найдется. Или тысячи не хватит?

А он говорит: — Трех не хватит.

— Так сколько же ты должен, дуралей? — ору.

— Шесть с половиной тысяч, — говорит, — и срок через неделю.

И странно, но я сразу поверил, что так оно и есть. Помнится, в горле у меня запершило, и я огляделся, сам не знаю зачем. Часов семь вечера было, начинало темнеть. Мелкий дождь, припустивший два часа назад, все сыпал и сыпал. Мы стояли у машины, невдалеке то крытого овощного павильона там, где начинался спуск к дамбе. Насыпь и дорога, что протянулись по насыпи от Павлового поля к городу, и дома по ту сторону огромного котлована — все это было скрыто вечерней дымкой, пеленой дождя. Помнится, глянул я на Мишку, и у меня от ярости дух перехватило: ведь я сразу понял, кому он мог проиграть такие сумасшедшие деньги. Публика эта в каждом большом городе имеется, а если вам интересно посмотреть всю междугородную шатию в сборе, их, так сказать, сепаратную встречу на высоком уровне, дождитесь лета, купите билет в Сочи, а там попросите кого-нибудь из местных, чтобы довел вас до гостиницы «Жемчужина».

И тут нежданно-негаданно я вспомнил, как Мишка на своих последних соревнованиях выступал. Перевесил он тогда граммов сто, не больше, а до конца взвешивания оставался час, вот он напялил на себя лыжный костюм и мое пальто в придачу. Ему оставалась последняя контрольная попытка, он носился по залу как угорелый, покуда не пропотел насквозь, и — уже не знаю, о

чем он тогда думал — вскочил на весы прямо в костюме и в пальто, как был, а тренер «Динамо» тот, кто отмечал контрольные веса, мигом записал его не в шестьдесят семь, а в семьдесят пять. Донде, услышав об этом, расстроился так, что руки у него затряслись, и говорит: — Правильно, я же знал, что у тебя нет мозгов! Что ж ты теперь в Витином пальто будешь драться или наденешь поверх мою дубленку, чтобы ты хоть весил эти семьдесят пять килограммов? — А Мишка схватил его за руку и говорит: — Все будет в порядке, вы только не волнуйтесь, Семен Ефимович! — И выиграл три боя до финала, все три — нокаутами, а в финале парень из «Динамо» отказался с ним боксировать, так Мишка, вместо того, чтобы к награждению идти, снял пиджак, подошел к судейскому столу, расписался за диплом, а после с дипломом под мышкой стал назад в толпу зрителей.

Так, мало-помалу я взял себя в руки, но продолжал стоять, облокотясь о дверцу машины, курил и смотрел, как тает в воздухе сигаретный дым. Понятно, о такой минуте мы с Аллой Афанасьевне только помечтать могли, ведь когда же было брать с него слово, связать обещанием, как не теперь, да только говорить с ним так у меня язык не повернулся, потому что я, понимаете ли, знал: он помог бы мне, не сказав ни слова, если бы так влип я.

— Ладно, — говорю, — как-нибудь да выкрутимся. Все, что на мне — твое и магнитофон — тоже. Триста у меня есть, еще четыреста я займу. На две тысячи можешь рассчитывать. Остальное выплатим постепенно, по сто рублей в месяц.

— Не выйдет, — говорит. — Ну подумай сам: кто станет ждать сорок пять месяцев? Твои деньги мне не нужны, мне должны куда больше, чем шесть с половиной, просто я никому не наступал на горло.

— А нельзя ли, — говорю, — свести их вместе — тех, кому должен ты, с теми, кто должен тебе, и пусть бы сами разбирались, а?

— Не выйдет, — говорит, — ни тем, ни другим это не нужно. Для меня выход один: получит деньги и расплатиться, и ничего другого тут не придумаешь.

— Вот оно что, — говорю, — так, значит, надо заставить их вернуть тебе деньги?

— Имей в виду, я ни о чем не прошу. — говорит.

— И я ни о чем не прошу. — говорю, — Надеюсь, ты и без просьб все понимаешь.

Он кивнул. Мы сели в машину, я завел мотор, и на неделю жизнь наша завертелась так, что все вокруг слилось. Днем, как и положено, я возил своего управляющего, а если удавалось урвать часа два-три, спал в машине, накрыв лицо газетой, а в пять часов

на переднее сиденье садился Мишка, небритый, с запекшимися губами, с маленькими, как у подростка, руками, перепачканными пастой шариковой ручки, и мы колесили по городу далеко за полночь.

Бывало, стоим мы у кабины телефона-автомата. Мишка подзывает первую встречную девицу из тех, что не ломаются по часу, и говорит: — Солнышко, выручи нас, нам надо потолковать с приятелем, а его не зовут к телефону. — А после, когда она позовет кого надо, назвавшись Мариной или Томой, как велел ей Мишка, он берет у нее трубку и говорит: — Толя, помнишь, какое сегодня число? А ты обещал рассчитаться десятого. Если сегодня в девять тебя не будет, считай, что должен не четыреста, а восемьсот и вот эти восемьсот мы получим.

А бывала и так: мы сидим в машине на какой-нибудь Кацарской или Юмтовской позабытой богом улице. Час ночи, и в машине жизни не больше, чем вокруг, мы курим и прячем сигареты под приборную доску или в кулак, когда подносим ко рту, а после, когда появляется наш долгожданный, когда он поравняется с капотом, я включаю фары на дальний свет, и мы с Мишкой выходим из машины.

Так мы собрали все распроклятые деньги, собрали куда больше — ровно восемь тысяч двести, и это было еще не все: кое-кто отмолился на потом, а кое у кого денег не оказалось вовсе. Кому платил Мишка, я так и не видел — подвез его к бару, но заходить не стал, сказал, что обожду в машине, Понимаете, за эту неделю я устал, даже сам не знал как.

Выходит, я первый обмолвился о том, что лучше б нам уехать из города. Не сказал прямо, но когда вез Мишку к бару и что-то он сказал насчет нашего города, я ответил: — Провалиться бы ему, нашему городу! — А на следующий день Мишка уже ждал меня у входа в трест. Ясно, я решил: у него новые новости про старые дела и выскочил из машины, а он рассмеялся и говорит: — Нервы у тебя ни к черту, Витя. Помнишь, ты сказал, что можешь взять десять дней в счет отпуска?

Ну, я говорю: — Помню. Что с того?

— Так оформляйся. — говорит, — вечером мы улетаем.

Ну, я говорю: — Интересно куда?

— В Ялту, — говорит. — Есть там одна гостиница. Соитии говорит, потолок.

Я говорю: — А вдруг меня не пустят? Или тебя в институте хватятся? Об этом ты подумал?

— Еще бы не подумал, — говорит. — Иди, я здесь постою. У меня в кармане билеты на самолет до Симферополя.

И стоило ему сказать про билеты, мне так уехать захотелось,

что я едва не припустил бегом. Понятно, я полтора года без отпуска трубил и дальше Остра никуда не ездил, кроме как дней на пять, на бои. Понятно, я знал: там, куда мы полетим, вовсе не земля обетованная, нет там ни вечного блаженства, ни избавления, ни забытья, но я подумал так: должно же и у нас быть что-нибудь веселое в жизни?

Так что часом позже мы сидели в такси и мчались к Мишке за вещами, а после — ко мне, чтобы захватить мои; по дороге Мишка вытащил деньги, оставшиеся от тех восьми тысяч двухсот, и разделил их поровну, по восемьсот на брата. Потом мы поехали в аэропорт и пообедали в ресторане на втором этаже, но сперва отметились в парикмахерской на первом, где нам промыли волосы шампунем и уложили их под феном, а после привели в порядок ногти на руках, а перед самым отлетом Мишка сбегал в ресторан и вернулся с бутылкой коньяка, чтобы нам не скучать в самолете. Он купил еще одну, когда мы приземлились, и в такси — похоже вся наша молодость прошла в такси, — так вот, в такси, которое мы наняли, чтоб добраться до Ялты, он стал вытаскивать из карманов шоколадные конфеты, полные пригоршни. Так мы и ехали, поочередно прихлебывая коньяк, кругом была ночь, и горы высились во тьме по обе стороны дороги, а когда мы проезжали по щебенке, камни лупили в дифференциал машины так, что, казалось, вот-вот пробьют ее насквозь, а заодно и нас. На перевале таксист остановил машину, мы вылезли размять ноги и, стоя перед радиатором, допили коньяк, Мишка размахнулся и пустая бутылка полетела в темноту, мы снова сели в машину, и никогда больше я не был счастлив так, как тогда в такси вместе с ним.

III

Говорят, человека нельзя любить за что-то, так и я любил его не за то, что он был честным или добрым или храбрым, а за то, что он — это он. И что бы о нем не понаговорили после, было правдой меньше, чем наполовину, ведь судили о нем со слов Гириных, Сошиных, Штеренталей и прочей шушеры, а ведь не то, что они — мы, люди близкие не понимали его до конца. Ведь чего проще — сказать о человеке, что не было в нем твердых моральных устоев, как твердила потом Алла Афанасьевна, или, что он вел бездуховную жизнь, как обмолвился на прощанье Дмитрий Сергеевич обо мне самом. Ведь в жизни главное — найти свое предназначение, ведь не для всех же свет сошелся на филармониях да библиотеках, а ну-ка вспомните бравых ребят с киноэкранов, тех, кого играют Бельмондо и Брандо, а потом вообразите, хороши они бы были не с револьверами в руках, а с папкой для нот или тем же самым тубусом, причем не на минуту или две, а до скончания дней — тогда, может, поймете, каково это, когда при вас сила и напор, и смекалка, и сноровка, и расчет, и глазомер — короче, короче, качества, по другим временам может и украшающие вас, и с годами, верно, сходящие на нет, а до тех пор изводящие вас, помыкающие вами, как истеричка-жена, любимая до беспамятства. Такой публике во всем блюсти мораль да вести духовную-предуховную жизнь — все равно, что постричься в монахи или заделаться евнухами, а еще лучше постриг и оскопление сразу, чтобы прикончить наверняка. Потому что это означает отречься от тела, плоти, утихомирить, разбавить кровь, а вот этого мы не могли. Мы ведь были молодыми, понимаете?

Случалось вам видеть, как блестит антрацит на изломе? Так блестела дорога на проспекте, когда мы недели через три после нашего с ним возвращения подвозили с Павлова поля, из ресторана одного нашего приятеля, Игорька, и его девицу. Он эту Раю в кабаке подцепил, и всю дорогу у ней рот не закрывался. Мишка — тот нарочно магнитофон включил, но Рая эта вкручивала нам про свои летние подвиги громче магнитофона, и я еще помнится спросил Игорька, у кого из них раньше кончится завод, а оно говорит: — Не знаю. Но если хочешь, чтоб они выступили на равных, в магнитофон надо тоже бутылку шампанского влить.

В другое время я б мимо ушей пропустил эти ее россказни — в тот вечер был гололед, и мне бы повнимательней следить за дорогой, но, говоря по правде, наша поездка в Ялту просто не шла

у меня из головы. Гостиница, к которой мы подкатили среди ночи, и в самом деле была потолок, как сказал про нее Сошин. Она была в стиле модерн — а, может, не модерн, — ведь стилей я видел не больше, чем гостиниц, но это было настоящее шестнадцатиэтажное чудо из камня, стекла и стали, громадина из тех, какие видишь на открытках на фоне гор, моря и небесной синевы, и стоило вам толкнуть прозрачную дверь со щеткой внизу и ступить в роскошный холл, вы попадали прямиком в Европу, на территорию какой-нибудь страны Бенилюкса.[33] Там были два кафе-экспресса, пять баров, валютный магазин, плавательный бассейн, сухие бани, косметический салон, бильярдная, два кабака, а в них полным-полно немцев, поляков, югославов и грузин, вот мы и делали там то же самое, что немцы, югославы и грузины: с утра — в бассейн, а после и до ночи — из бара в бар, из кабака в кабак. А я все думал: ведь не может человек сам себе признаться, бесповоротно и окончательно увериться, что у него кишка тонка, что в нем нет перца или пороха хоть ненадолго заполучить все это, потому что даже самому распоследнему и разнесчастному дуралею такое причитается хоть на денек или два, а раз это так, раз нам с Мишкой хватило перца, пороха, сиропа — называйте, как хотите, — раз у нас в карманах по пачке денег в два пальца толщиной, да ключи от номеров, какие разве что приснятся, раз мы днюем и ночуем в ресторане, их которого публика, вроде жены моего управляющего, непременно стащит меню на память, и никто здесь не помыкает нами — нет здесь ни сволочей-сестер, ни их дураков-мужей, ни полоумных стариков, ни бессловесных родителей, ни управляющих, которым надо втаскивать мешки с картошкой на шестой этаж, — отчего мне тошно, как на похоронах?

Да как я ни крути, в какие джинсы и кожаные пиджаки ни рядись, а вырос я в одноэтажном доме на Клочковской, в так называемом частном секторе, где главное праздничное блюдо — винегрет и основное развлечение — пивной ларек за церковью. Так что те десять дней, пока таяли как дым наши шальные полторы тысячи, у меня такое чувство было, будто я смылся из дивизиона в самоволку в город, и, неровен час, командир взвода и пятеро ребят из моего отделения явятся за мной, свезут обратно в часть, а там мне влепят десять суток, чтобы я малость поостыл. Что будто бы нашему времяпрепровождению, нашим гостиничным номерам и деньгам есть настоящие полноправные хозяева, которые явятся, когда им вздумается, и выставят нас вон.

Так что, слушая Раю, — она на заднем сиденье сидела, развалясь, в распахнутой дубленке, и вид у нее был такой, будто она в лимузине самого шейха Сабаха[34] — я только злился, да

так, что позабыл про осторожность, про гололед. Я, помню, оглянулся сказать ей словцо, чтоб заткнулась, и тут этот пьяница выбежал на дорогу.

Метров пятнадцать до него было, на проспекте ни души, только белые огни в ночи убывающей вереницей. Длилось это миг, не больше, но правду говорят, что такая минута неделей кажется: он был один на дороге — черный силуэт на платиновой глади льда, — я тормознул и вывернул вправо, так этот бедняга туда же метнулся, словно испытывая свое, а заодно и мое везение, и я услышал, как скрежещут колпаки колес по бордюру и, самым краешком слуха позади себя, Раин визг. Я влево принял, но понял: поздно, а тот, на дороге, он ладони выставил, точно стремясь удержать две тонны железа, внутри которых сидели мы, я заорал, машину тряхнуло, и он исчез под капотом.

Я тащил его метров восемь, покуда мы не налетели на мигалку за перекрестком, и тогда машина стала, стекла посыпались в салон. Ясно, я не в себе был, когда выскочил. Он под передней осью лежал, скорчившись, я вытащил его за полу пальто. Я все видел: как Мишка с Игорем держат Раю, а та заходится в визге, как Мишка зажимает ей рот ладонью, а Игорь выбирает из волос и воротника дубленки осколки стекла, и вдруг я заметил, что ноги того типа вывернуты так, будто штанины пусты и свисают со спинки стула, я голову стал ему приподнимать, чтоб подложить ему мое пальто, и тут почувствовал: затылок у него — податливый и клейкий, точно кто взял и вывалил мне в руки корзинку разбитых яиц.

Я все держал его голову у себя на коленях, когда подкатила ГАИ; оба мы и лед под нами — все было в крови; мне милиционеры сказали потом, что у меня лоб осколком рассечен, а я еще, помню, подумал тогда: что это течет у меня по лицу? Нет, ничего я толком не видел, ничего не понимал; его у меня отняли чуть ли не силой. Машина ГАИ была с мигалкой на крыше, мигалка вращалась, раз за разом заливая все вокруг синим потусторонним огнем, скорая помощь примчалась и умчалась, и я снова увидел Игорька и Раю, он ее обнимал за плечи, а она, плача, жалась к нему, — а потом и услышал, как Мишка толкует лейтенанту, что они втроем из «Родника» возвращались, когда он — тут Мишка показал на блестевшую как смола лужу на дороге — сам под колеса выбежал, но, верите ли, в ту минуту я даже не сообразил, что Мишка, Игорек и Рая — мои свидетели и единственное спасение, и закричал на лейтенанта, какого черта он спрашивает их, а не меня. Я не в себе был, это точно.

Последнее, что я из милицейского фургона видел, была моя «снежинка» с выбитыми стеклами, искореженным передом,

словно кронциркулем охватившая столб мигалки; кругом сияла россыпь битого стекла, и двое милиционеров промеряли мой тормозной путь.

Часа в два ночи меня отпустили, сняв экспертизу и взяв подписку, и там же, у милиции я поймал такси. Я как знал, что он — я о том типе, моем крестнике — в Институте неотложной хирургии, как чувствовал, что обзванивать морги рано, да и фамилию его еще не слыхал, но, помню, дорогой о нем все как о родственнике думал: мол, не выживи он, мне его до конца дней моих в памяти носить. Зря, конечно, все в памяти стирается, но я же говорю, что был не в себе.

В Институте неотложной хирургии тихо было, а в коридоре, что вел к операционным, и вовсе все погружено в ночь, только матово горели под потолком плафоны, только нет-нет, да слышалось из приемного покоя, как шаркнет по полу подошва дежурного санитара или хлопнет наверху дверь на сквозняке. Я сперва вдоль стены ходил, плечом ее отирая и касаясь виском, а после сел на стул при входе и с шапкой в руках вроде как уснул, да только был это не сон, а явь, какое-то оцепенение вроде забытья, словно бы я лежу на солнцепеке, глаза закрыты, и передо мною медленно и мерно перемещается безбрежное море алого песка, и вдруг голос, да такой далекий и звучный, точно эхом принесенный с другого берега реки, меня по имени зовет: — Витя! — Потом еще раз: — Витя! — я вскочил, но в коридоре стояла тишина, как в аквариуме, лишь плафоны лили свет с потолка, да по углам лежали зыбкие тени.

Я не заметил, как врач спустился, стал в дверях, сигарету разминая.

— Вы водитель, который сбил Кайдалова? — спрашивает.

— Его Кайдалов фамилия? — говорю я.

— Можете больше не ждать, — говорит.

— А он? — говорю. — Что вы на меня смотрите?

— Я вам сказал: ступайте домой — говорит.

Я повернулся и пошел прочь по коридору, но, не дойдя до пропускника, вернулся и говорю:

— Скажите, доктор, в котором часу он умер?

— Он уже час в прозекторской, — говорит.

Домой я не пошел, в гараж поехал, а после в трест. Когда я к замдиректора вошел, он как раз с Москвой, с Дмитрием Сергеевичем объяснялся, а мне кивнул. И мне сразу стало ясно: нет, никто здесь еще ни о чем не знает, ведь и в ГАИ и в прокуратуре живые люди сидят, у которых дел по горло, да еще в глухую ночь, и тут, как нарочно, зам трубку мне передал, и Дмитрий Сергеевич на том конце провода мне говорит:

— Витя, я буду завтра девятичасовым, шестой вагон. Заедешь за женой, голубчик, она будет ждать.

— Не могу, Дмитрий Сергеевич, — говорю.

— То есть, как это не можешь? — он говорит.

— Я сделал наезд, — говорю. — Я убил человека.

Наверное, с минуту он молчал.

Потом говорит: — Как же это вышло, господи спаси? Ты наверное знаешь, что убил?

— Убил, Дмитрий Сергеевич, — говорю. — Кому же это знать, как не мне.

— Ничего не понимаю, — он говорит. — Ты что, правила нарушил, или, может, ты пьян был? Можешь ты толком объяснить, как это случилось?

— Отчего же, — говорю, — разумеется, могу. Он ко мне сам под колеса при трех свидетелях сунулся, а ночью гололед был. Я километров семьдесят шел, затормозить не получилось, вот и все. Теперь он на вскрытии, а я под следствием.

— Что ты делал ночью со служебной машиной? — говорит.

— А, — говорю, — вы и этого не знаете? Правда не знаете? Ну так я вам расскажу: два дня назад у меня двигатель застучал, и люфт мне показался больше обычного, вот я и провозился с машиной до ночи, а напоследок решил малость погонять ее, чтобы лечь спать, как говорится, с чистой совестью.

Тут он как крикнет: — Замолчи, дуралей!

Потом, помолчав, секунд семь-восемь:

— Что с машиной? — спрашивает.

— Машина вдребезги, — говорю. — Сейчас она на площадке ГАИ. Все мы теперь в надежных руках, Дмитрий Сергеевич.

И, снова помолчав, он говорит:

— Виктор, ты понимаешь, что это тюрьма?

— Что ж, — говорю, — тюрьма так тюрьма. Значит такое мое везение. Не я первый.

Тогда он говорит: — Хорошо, мы этот разговор после продолжим. До моего возвращения никуда не ходи. Ступай домой и чтобы из дому ни шагу.

Я говорю: — Это как же? Мне через час у следователя надо быть.

А он: — Сказано тебе, никуда не ходи. Отправляйся домой. Ты все, что мог, уже сделал.

Хотел я сказать: — Ваша правда, Дмитрий Сергеевич! — Но он уже дал отбой.

И тут я увидел: за окнами снег идет, кружится медленно, спокойно и торжественно как на рождество, и утреннее небо такое ясное, что больно глазам, и в кабинете тихо было и

сумрачно, только зам на меня таращился из-за письменного стола.

Мишка меня у входа в трест дожидался, стоя в кромешном снежном мельтешении. Он спросил, знаю ли, что пассажир тот тю-тю, отъехал?

Я говорю: — Да, знаю.

— Тебе следователь в одиннадцать назначил? — спрашивает.

Я говорю: — В одиннадцать. Что с того?

— У нас сорок минут, — говорит. — Садись, поехали, времени в обрез. — И только тут я заметил у обочины такси.

Я говорю: — Куда? Куда еще, пропади все пропадом, я еще должен ехать? Нет, братишка, я свое отъездил, дальше мне ехать некуда.

— Не валяй дурака, — говорит, а сам меня как маленького ведет к машине. — Мы едем к адвокату.

И я ему себя в машину усадить позволил. Мне, понимаете ли, все равно было — к адвокату ли, к следователю, в тюрьму или преисподнюю. Узнай я в то утро, что меня родственники этого Кайдалова разыскивают, чтобы в отместку голову проломить, я б, кажется, пошел и сам лоб им подставил бы.

Да нет такого, чего бы я не сделал, на что не решился бы, вот так бы взял и правую руку отдал, лишь бы отмотать ленту времени назад, ко вчерашнему вечеру, когда я за ворота гаража выехал, а лучше бы до того апрельского дня, когда я после дембеля домой возвратился в двубортном диагоналевом костюме, который купил себе на проводы, с чемоданчиком, где, сложенное вчетверо, лежало мое хабэ. Только, думается мне, немало нас таких сыщется, согласных самих себя изничтожить, замордовать, лишь бы, время повернув, обрести самих себя или свое доброе имя, или честь — словом то, что теряешь раз и без чего нельзя человеку.

Так что я уже знал: потеряв, теряешь навсегда, ведь о вине твоей все тебе известно, а следствие и суд только неизбежные, запоздалые формальности, чтобы узаконить наказание и прощение таким, как я — ведь в наказание меня всего-навсего лишат свободы, да и то не насовсем и не навсегда, и, простив, свободу вернут, а вернуть саму потерю невозможно ни судом, ни советами самого дошлого адвоката, что ни сули ему, как ни плати.

Так что я уже все про себя знал, когда-то с Мишкой в кабине адвоката сидел и в пол-уха слушал, как тот меня учит, что и как отвечать следователю, и какие бумаги с работы у Дмитрия Сергеевича просить, и у следователя, и на эксперименте на дороге, и, наконец, в баре, куда Мишка чуть не силой затащил

меня, чтобы я, как он сказал, «вставился» в тепле, я уже все знал о своей потере, о ее безвозвратности и цене.

Хуже нет, когда один напиваешься. А если с другом, с которым прежде ни взгляда, ни жеста не требовалось, чтобы знать, понимает ли он тебя, потому что такое понимание — оно вроде родства, или есть, или нет, — так вот, покуда чувствуешь это родство-понимание, все можно перетерпеть, пережить, а как видишь, что и этому конец, настает минута, когда тошно так, что жить не хочется. Как на зло, в тот день в баре было людно, а к закрытию стало не продохнуть: мы у стойки сидели перед пепельницей, рюмками и стаканами воды со льдом, я в окна смотрел, пока смеркалось, потом — в зеркало над стойкой, где обоих нас видел, как на памятном снимке, плечо к плечу сидящими под висячими лампами, в сигаретном дыму.

За весь вечер я с ним словом не обмолвился, во-первых, потому, что не было сил, да и бар — не место для такого разговора, во-вторых, оттого, что чувствовал: нет, на его понимание мне нечего рассчитывать, для него — это очередная передряга, жуткая конечно, что там говорить, но и раньше мы с ним по краю ходили, и раз оба живы, остается поскорей наплевать и забыть. И еще я чувствовал: есть такой предел, за которым поступки и слова очень много значат, а все прежние не идут в зачет, точно тебя самого нет и прошлого нет, есть только черта, за которой настоящее, и вот что ты за чертой сделаешь, скажешь, это ты и есть — а после можешь о себе что угодно думать, мнить, что тебе заблагорассудится. И всегда я думал: там, за той чертой мы с ним будем рядом, и про то, что сделает, скажет один, другому и размышлять не подобает, не смеет один из нас усомниться, что сделает, скажет второй.

Под закрытие мы с ним по последней опрокинули, он на меня искоса взглянул, будто в чем удостовериться хотел, потом слез с табурета, застегнул пиджак и, меня за локоть взяв, говорит в полголоса: — Порядок, Витя, пошли домой, проспишься. А ну-ка, осторожней, обопрись на меня!

— Я не пьяный, — говорю. И руку высвободил — я и в самом деле не так набрался, чтобы ему меня под руки водить.

— Само собой, — говорит, — конечно, не пьяный. На твое пальто, оденься, пока я выскочу за такси.

— Стой, — говорю, — никаких такси.

— И не надо, — говорит, — лучше мы с тобой воздухом подышим.

Вышли мы; и я к дверям бара прислонился, пальто расстегнув и вдыхая грудью. А как только почувствовал — пойду не шатаясь, и языком ворочать тоже смогу, я пальто застегнул, от дверей

оттолкнулся и через дорогу двинулся к скверу, к дальней скамейке под фонарем. Мишка на шаг позади меня шел, а у скамейки, меня придержав, смел посередине снег ладонью.

Сел я. А он так и остался стоять, сигарету прикурив и на меня глядя.

— Садись, — говорю, — в ногах правды нет.

— Ничего, — говорит. — Я в порядке. Постою, а ты посиди.

— Ошибаешься, братишка, ты совсем не в порядке, — говорю.

А сам чувствую: язык опять тяжелеет, прямо свинцом наливается, гад, и руки, по скамейке разбросанные, медленно коченеют в снегу.

— Нет, — говорю, сам себя кляня за косноязычие, за то что в звездную минуту нашу нужных слов найти не могу, — порядком у нас и не пахнет, братишка, порядок — это не про нас с тобой… Ты или просто не знаешь, как надо, или нарочно думать не хочешь, не веришь, не ждешь и сейчас думаешь, что меня высказаться тянет, что я набрался и околесицу несу…

Говорю, а сам, снега зачерпнув, лицо растираю, потому что пьяным быть права не имел. Он предо мной стоит в мглистом свете ночи, только сигарета разгорается ярким огоньком.

— Ничего такого я не думаю, — говорит. — Успокойся, Витя. Мы с тобой завтра разберемся, хорошо?

— Нет, — говорю.

А сам, шапку сняв, в холоде пронзительном еще снега зачерпнул и тру.

— Завтра, — говорю. — А вдруг не будет завтра? Вдруг ничего до завтра не переменится? Сам ты чего ждешь от завтра, скажи?

— Ничего, — говорит. И голос у него спокойный и усталый, будто он это свое «ничего» по десять раз на дню повторяет. — Я ничего не жду от завтра. Что ты завелся? Что я тебе сделал не так?

— Мне? — говорю. — Но разве я о себе? Разве я не о нас с тобой, не о тебе думал?

— Не кричи, — говорит.

А я и не заметил, что кричу.

— Я ни в чем тебя не виню, — говорю. — Не видал от тебя ничего, кроме хорошего. Ты умней, так меня пойми!

Встал я и, руки от снега отряхнув, из кармана коробок спичечный вынул.

— Смотри, — говорю. И коробок ему на ладони протягиваю. — Вот она, жизнь. Видишь, она есть? А вот я сейчас кулак сожму, и ее больше не будет!

Стоит, молча смотрит, как я, руку разжав, коробок

раздавленный в снег уронил.

— Жизнь, — говорю и самого себя вижу с тем горемыкой в его крови, на льду.

И вдруг Мишкин голос слышу, негромкий, спокойный, словно бы и не его вовсе, а исходящий из далекого и бескрайнего, усталого и терпеливого далека:

— С каких пор ты так дорожишь жизнью, Витя?

— Замолчи! — говорю.

А сам невольно назад оглянулся, будто в ночи нас мог услышать кто-то вездесущий и всесильный, кто жизнь враз отнимает за такие слова.

— Никогда не говори такого, понял? — говорю. — Это теперь ты не дорожишь, зато после, поняв, дорожить будешь. Мы наше завтра начнем сегодня. Отдай мне карты, Миша. Навсегда отдай.

— Отдай, — говорю. — Прошу тебя, отдай. По-другому мы с тобой не разойдемся. Сам отдашь или мне у тебя взять?

Молчит, и взгляд его немигающий, пристальный, будто намертво прикован к моему лицу.

Я, с минуту обождав, к нему подошел, руку его из кармана пальто вынул и карты вытащил — те, что по сей день у меня.

— Ты потом поймешь, — говорю. — Ты мне еще благодарен будешь. Обо всем остальном утром потолкуем. Я тебя домой провожу, хочешь?

— Лучше я тебя, — говорит.

IV

Да, значит, каждому — свое, раз мы себя самих толком ни спасти, ни погубить не в состоянии, настоящая гибель или спасение — редкость по теперешним временам, так что за него можно было не опасаться, а за меня — подавно, и если на то пошло, спасаться надо было от нас, ну да тут без третейского суда не разобраться, но по мне не мешало б для начала выяснить, кого спасать первыми, а еще лучше торжественно считать 21 декабря 1977 года Днем всеобщего спасения, а заодно на манер декады безопасности движения учредить месячник по нахождению между нами общего языка, а то, похоже, мы все по-разному понимаем, в чем спасение: вспомните-ка объявления у милицейских отделений до паспортных столов, что, к примеру, такой-то вышел из дому в 1973-м году, 2 августа на ночь глядя, и безутешные родные ждут его назад, ждут — не дождутся, а нет бы подумать, что, может, сам такой-то больше праздника 2 августа дожидался, чтобы с билетом в кармане очутиться в Воркуте или там в Целинограде, главное подальше от близких и родных, и пойди найди его. Но я сперва думал, сам объявится, услыхав хоть раз: — МИША ПОЛОНСКИЙ, ВИТЯ АЛЯЕВ ЖДЕТ ТЕБЯ У ПРИВОКЗАЛЬНЫХ КАСС!

Потом смотрю — его нет в толпе. Ничего, думаю, бывает всякое, вдруг он на платформе и не слышит, или решил, что жду не я — и я бегом по платформам, а его нет как нет, и ведь не станешь спрашивать: — Не видели вы парня, черноволосый, ростом с меня?

До аэропорта я заглянул на автовокзал, думая: на Южном два часа потерял, если он прячется там, где его искать не станут, ну да тут не поймешь, сколько я потерял времени: сутки, считая со вчерашнего вечера, ну а если с сегодняшнего утра, когда Сошин сказал, он из гостиницы ушел черным ходом, получается пол дня, почти десять часов. Или нет, не десять, девять — час ему до вокзала, или восемь, если до аэропорта, и автобусы, как поезда, каждые четверть часа отходят. Но потом подумал: ведь автобусы идут всего-навсего по области, а наша область ему не нужна, ему теперь тесны границы нашей области, ему теперь в столичные города, и он сам все мне сказал. Зря я не поверил. Вот пришлось ему доказывать мне, что все мы попросту у него не в голове — не отец и мать, брат или друг, а бремя верности, повседневных беспокойств, пожизненных обязательств, если это, конечно, не слова. Еоворю, он был нормальней нормального, раз ему ума хватило не то, что время рассчитать так, чтобы его догнать, не

отыскать было — восемнадцать тысяч проиграть, чтобы к нему больше не лезли со спасением.

Пол ночи я из аэропорта до города добирался, километров десять отшагал, вот и присел на скамейку в парке, сам не заметил как задремал. Только знаете, как это бывает — казалось нет никакого сна, и предо мною огромное вересковое поле в тумане, унылая, горестная земля, и я еще подумал: неужели это небеса, и как будто мы с Мишкой стоим у выкрашенных в зеленое железных ворот, и не знаю откуда, но знаю точно, что там за воротами те же вереск и туман, та же горечь и унылое отчаяние, и никак не пойму, что мы пришли сюда выигрывать — деньги, свободу ли, лучшую жизнь, и вижу Мишку, таким как вчера: в лице ни кровинки, запекшиеся губы и карты, перемещаются у него в руках, и только глаза у него прежние, черные, живые как у белки, но голос у него совсем как вчера, исполненный того же терпеливого спокойствия, как эхо бесконечного далека, говорит мне: — Потерпи. Сейчас мы его закрутим. Сейчас старая сволочь поставит нам карточку…

Шел снег. Я сидел на скамейке в парке и тихонько плакал, и Мишки больше не было в городе.

Свидание

I

Мысль о физическом исчезновении пришла ко мне в пору влюбленности: одиннадцать лет. Любопытно: в моем случае не толпа (общеизвестная антитеза смерти) наводила меня на мысль, но безмерное одиночество в фабричном загородном лагере, куда я был отдан родителями в первый раз и где так полно, как это может только подросток (или поэт), страдал, не будучи в силах рассудком определить природу собственного страдания. Я убегал (чистая классика: миниатюра общества, побег), когда день был на исходе. Заветным местом моим был скат гигантского оврага: там я сидел, обхвативши колени среди поникшей от зноя травы, в схожем оцепенении глядя, как догорал закат над кромкой далекого леса, дивясь и мучаясь предчувствием мною угаданного будущего моего исчезновения. Исчезновения — и только, ибо пытавшее меня воображение не предлагало представления о небытии (равно как первая и, несомненно, платоническая, любовь не подразумевает взаимности телесной), а потом — само исчезновение Я был. Меня нет было вдоволь таинственно и темно, и скоро каждодневные испытания тайной и темнотой стали мне решительно необходимы. Как обычно, некому было остеречь меня от мысленной дерзости, а мое положение беглеца — исключительность положения и роковую его прелесть — делал еще несомненнее из лагеря отряженный на поиски и вдалеке выкликавший меня по имени маленький отряд.

Регулярные мои исчезновения (детские попытки того невозможного для разума, какого я страшился и о каком воображал) произвели меня в герои моих сверстников. Было это в начале августа, в никем нетронутом первозданном лесу и настоящая эманация любви и влюбленности царила в лагере точно в раю, благодаря нашей здоровой любознательности, да беспечной чувственности простонародного персонала и повторению друг другом укромных прогалин и полян, предлагавшихся одновременно в качестве искуса и места действия для секретных поцелуев и объятий, непременно подсмотренных кем-то из нас; и сей общественный взгляд (с возрастом, верно, перерастающий в мораль) толковал мои побеги как то, чем они, помимо моего разумения, были на самом деле: как свидания.

Разумеется, я был в дурмане. Смутная догадка, что у бытия — у грандиозного заката с неподвижными облаками да последним лучом, нацеленным в зенит, есть оборотная как наваждение, как амальгама черная сторона, плюс даже мне, мальчишке, очевидная

мысль, что ежели отцу и матери, ежели всем отцам и матерям суждено исчезнуть, то куда и какую экспедицию надобно предпринять, чтобы вернуть их, от меня требовали повзросления немедленного, исступленное желание которого захватило меня так, что привычку самому себе всякое утро измерять рост я увез с собою в город. Знаменательно, что как всякая idees fixes, [35] зрящая великую и запредельную цель, эта вела через непременную ироническую метаморфозу — из преследователя в преследуемого, из провидца в слепца, ибо за всяким мыслимым подтверждением было довольно было б разгрести траву или понаблюдать муравейник. Но интерес мой устремлялся в иное измерение: в легендах и преданиях от гибели спасали сообразительность и доблесть, а на худой конец в дело шел целебный источник или отвар, или неумышленное благодеяние, вполне забытое, но зачтенное судьбой, и участь чудесным образом проигрывалась обратно (там же, кстати, нахожу дивную метафору избранничества: шеренгу мнимых двойников и то ли сестру, то ли невесту, отыскивающую то ли брата, то ли суженного по одушевленному трепету ресниц). Знаменательно и то, что в конечном счете все мы получаем по своей вере: годом позже и совершенно неожиданно (всеми перепетая неожиданность, с которой Провидение орудует в застенке в салоне, в битве на балу) я повзрослел в четверть часа, в пинг-понг обыграв отца — и тотчас азарт метания у геометрии стола обернулся таким наплывом раскаяния и любви, точно морской ветерок, прежде мешавший нашей игре, навеял мне прошлогодние мысли, полузабытую печаль, а жест отца, каким он виновато (или то казалось мне в потрясении моего окаянного превосходства?) приглаживал остатки волос, окончательно перенес меня из этого августа в прошлый.

Припоминаю теперь, что моей летальной теме вовсе был чужд тот романтический полет, что в отрочестве отзывается честолюбивыми мыслями о самоубийстве (что за роение эпитетов — «субъективный», «суггестивный», «суицидальный»?), либо возносит к альпийским вершинам поэзии (как они смотрятся рядом — самоубийства и стихи!) — нет, мысль моя не обсуждала с воображением ни смерть на поле брани, ни замерзание в неизведанных ледниках, не будучи в силах принять самое акт: слитые в понятии умозрительность и неотвратимость, и нечто, ускользавшее от определения, но понятное нутру, что порождало невозможный призрак, и вот что я помню совсем уже отчетливо: в мреении заката, в ноктюрновом его угасании присутствовала непременная пауза, минута торжественной и цепенящей тишины, когда разгоряченный воздух замирал, и однообразное волнение

травы прекращалось совершенно, а мое ожидание, выраженное через особенный внутренний напев, достигало наивысшего напряжения — и этот миг, это немое крещендо, да необъяснимый холодок в хребте давали мне мистическую убежденность, что встреча сбылась.

Припоминаю и то, что не меньше преждевременных попыток интуитивного проникновения в запредельность литафонической вечности, я тяготился бременем миссии, сознанием тайны. Мне надобно было облегчить душу, а заодно, увериться, что я благополучней, нежели то иной раз представлялось мне самому Я был слишком мал, чтоб вынашивать план, но довольно сметлив, чтоб использовать случай. Тут нахожу забавную преамбулу будущей теннисной игры (не оттуда ли, не с тех ли фиолетовых вечеров у меня начался пристальный интерес к совпадениям?): мы заигрались с толстеньким щекастым мальчиком и, то ли потому, что звали его как меня, то ли по наущению сумерек — не его стихии, но несомненно моей, — павших на землю так стремительно, что мы прервали сет, я решил открыться именно ему, хотя по зрелому размышлению никого более неподходящего не сыскать было во всем пригороде. Мы развинчивали зажимы, разделенные столом — подразумеваемой бездной, ибо вопрос: «Послушай, ты думаешь о том, что когда-нибудь умрешь?», открывал именно бездну, от которой мой робкий товарищ тотчас помчался бы прочь. Все же я нашел, на мой взгляд, форму вдоволь располагающую: «Скажи, ты никогда не думаешь о смерти?». (Произнесенные, слова эти мне самому показались странными, голос — чужим). Мальчик промолчал, мне пришлось повторить.

«Не думаю» — сказал он.

«Ты никогда не думаешь, что родители наши умрут, а за ними — и мы?»

«Никогда» — ответил он холодно.

Я обошел стол и схватил толстяка за руку: «Почему ты не думаешь о смерти?»

«Стану старый, стану думать, — сказал мальчик, — а пока далеко она от меня». (Ответ, поныне представляющийся мне гениальным).

Я остался, прислушиваясь к собственному сердцебиению, да к удаляющемуся шуршанию гравия. Я не был оскорблен, не, тем более, раздосадован непониманием, какого, в сущности говоря, ждал. Но щемящее чувство, что часы на овраге с их безмолвием, их тайной принадлежат единственно мне и не должно делиться ими с кем бы то ни было, тем паче с ним, мальчиком в шортах, которые я — в рассуждении немедленного взросления —

презирал, не позволило мне пойти рядом с ним.

II

Ежели память и преувеличивает пасмурное очарование тех дней — все равно мне слышится в нем некая песенная печаль, отголосок утраты, нынче отзывающийся в сознании вторичной эмоцией: тоской по тоске. Я рос нестандартным подростком. Учителям было трудно со мной (вспоминаю анекдотический эпизод, когда на уроке правописания, будучи застигнут за чтением де Мопассана, объявил потрясенной классной даме, что добросовестно пропускаю места, не показанные мне по возрасту). У меня развилась тяга до безумных, бессмысленных игр: на пари я прошелся по гребню крыши семиэтажного дворового флигеля из конца в конец (кто скажет мне, сколько месяцев жизни зрелище это отняло у моей матери, которой глупая наша соседка прибежала указать в окно?), в играх на переменах выходил на карниз четвертого этажа и простаивал в простенке между окнами, покамест на озадаченных моим исчезновением одноклассников не находило состояние, сродное столбняку. Я более никого не допрашивал об отношениях с небытием (вопрос, состоящий в неожиданном родстве с начальной строкой негритянского псалма), непроизвольно ограничивая интерес, в ту пору осознанный не больше, чем возрастное преображение собственного голоса (фальцета в дискант) источниками равно безобидными и общедоступными. Так, например, в аспидно-черный некрологовой каймой очерченной перспективе телевизионной линзы у перехода в Нирвану существовали свои правила: прагматик с четверть часа толковал, за что, собственно, помирает, идеалисту рисовался замечательно оборудованный, в рассуждении прижизненной мечты, мираж. От меня не укрылась и следующая по классу закономерность: свидания назначались либо по примату прижизненного занятия (актеру — на подмостках, купцу — в ресторации), либо в произвольном конечном пункте, куда героя со всею неизбежностью доставлял до времени скрытый, либо заранее провозглашенный смысл (Печорин — в пути, Рудин — на баррикаде). Замечательно, что случайность мною воспринималась как нечто сродни досадным неполадкам в эфире, при которых меркнет изображение и реальность четвертого измерения обращается в развеянный миф. Замечательно и то, что, коли память мне возвращала призрак оврага, я отделывался от него с мне несвойственной стеснительной поспешностью, с какой гнал всякий признак, всякую принадлежность детства, имея в частности собственное некромантическое суждение (отзывавшее «Уложением о

наказаниях» благодаря несколько неуместному понятию справедливости — принцип, прежде меня разработанный в располагающем уединении замка Иф, да откровенно дурацкому разграничению на хороших и плохих, с оттенком этакой грузинской окончательности). И этому казенному мезальянсу я немедленно пожертвовал своим бракосочетанием, языческим трансом среди моря травы оттого, что в мертвых общих местах мне мнилось освобождение от прежних жутких сумерек; свет, lux ex tenebris,[36]постоянно отдаляющийся. В пятнадцать лет я брил усы. Я отлично учился, боксировал, брал уроки рисования, но мне чего-то не хватало, je ne sais quoi[37] — картины ли Латура[38] помутили мне ум, довлел ли мне страх упорядоченного существования? Наряд подворотен 60-х годов пришелся мне впору: бостоновые брюки, поднятый воротник плаща — я точно тщился обратить на себя внимание. Я нашел себе товарища, отставного боксера много старше меня, человека очень мужественного и совершенно одинокого (неизбежный предикат всякой добродетели). Мы были странной парой — мужчина, в мрачноватом облике которого было что-то львиное, и жизнерадостный впечатлительный парнишка, каким я, помнится, был. Мы посещали бары, ипподром, боксовые состязания — места для homme de lettres;[39] темы наших бесед были высокая страсть и кулачная отвага. Мы исповедовали каждый свою религию: он — некий паллиатив джайнизма[40] и дзен, исключавший страдание, я — прикладное христианство (отчего мои девчонки неизменно попадали в его постель). Я окончил школу, поступил в институт, в выборе исходя их расстояния от порога до порога, и на последнем курсе женился, точно в авантюрном романе определясь между армейской службой и супружеством (капралом и невестой), жизнь свою находя загубленной непоправимо, мои литературные jolis riens[41] — ненужными решительно, в порыве неоправданного самоотречения себя переведя из коней в ослы, и, право, был близок к тому, чтобы начать усердно возделывать виноградники Господа Бога… А, между тем, будь у меня на золотник проницательности, будь я в достаточной мере epoche,[42] я бы за хором экслибрисских голосов расслышал к собственной теме устрашающую антифонию… Я никогда не знал настоящий возраст моего товарища (в начале нашего знакомства попытался извлечь из валкой этажерки в его комнате бертолетовый альбом с коллекцией фотокарточек от лучших дней, да был остановлен гневным окриком). Так началась — или была мной услышана — некая вкрадчивая и глумливая тема, тогда мне неясная, тема распада. Не умея примириться с неизбежной регрессией своего богатырского начала, мой товарищ скипидар втирал в капсулы

волос, чтобы остановить облысение; для воскрешения тонуса потреблял размоченную пшеницу и пчелиный воск; наконец, прослышав о диете Шелтона, предпринял тридцатишестидневную голодовку с бесславным, на практический взгляд, концом — нам с матерью стоило адских трудов под нотариальное ручательство вызволить его из психиатрической лечебницы, куда был залучен насмерть напуганными соседями… С еще большим раскаянием и вовсе непереносимым стыдом вспоминаю свое невмешательство на следующей стадии этого беспримерного поединка: завсегдатай площадного бара, прозвищем и меблировкой неуклюже подделывавшегося под респектабельную разновидность старины, он всякий вечер танцевал там вместе с взопревшими юнцами, таксистами и бодрящимися выскочками из низших слоев, высматривая ту или иную avec sa mine de grisette[43] — субтильных Лор, перманентных Марин, мускусной вонью, да мусором слов, способных только усугубить отчаяние — и этот безнадежный танец (топтание и толкание) в праздной толпе чужих нынче дает мне человеческий код этой метафоры, как просьбы об отсрочке. Ибо настал день, когда явился к нам, немногословный и корректный, со свежим бритвенным порезом на щеке — прежний решительно во всем и, точно мановением руки с обшлага пиджака стряхнувший приписанное ему молвой, на пол в ванной поставил саквояж, выложил инструмент на газету, в считанные часы встроил внутренний шкаф и антресоль, точно в уплату старого долга, насвистывая и щуря внимательные, оттенка серого грозового неба глаза, действительно умевшие видеть под ударами. Потом отужинал с нами и как-то внезапно ушел, словно мучимый предчувствием… Вскоре он покончил с собой, избрав способ мучительный, но исполненный презрения к памяти по себе и изумительного равнодушия ad continuandum tormenta:[44] обвязал щиколотки антенной верной радиолки и дал ток (я стал писателем, он — мертвецом).

III

Привожу наше последнее с ним свидание (тройственный образ: подворотня, солнце, пыль — не подразумевал consilium abeundi).[45] Мы обменялись рукопожатиями; пожатие, могущее раздробить мне кости, ощущение шероховатости от прикосновения к страшной костной мозоли кулака. Свод подворотни — гнездилище безнадзорных голубей — принялся гулко вторить нашей беседе.

Он, сдается мне, впервые у меня просил совет, не жениться ли на последней passion,[46] миловидной брюнеточке двадцати с небольшим лет, кажется, институтке; совет дать себе отчет в природе своих чувств (как учил меня он) выслушал молча, медленно обегая глазами двор. Одиночество, которое он себе создал, растративши вдоволь душевных сил, наконец, воплотилось в земной ад, требовавший некоторого исправления. Впрочем, он был достаточно мудр, чтобы не обольщаться одной только в сердце отраженной стороной иллюзии: разумный эгоизм толкал воображения в темные открытия, разочарование им отказывало в одушевленности: так, свои бесчисленные соития с бесчисленными любовницами он на жаргоне трущоб, помнится, называл палками.

«Я смотрю вперед» — промолвил он, оборвав меня на полуслове, улыбнувшись одними уголками рта, отчего вышла тень улыбки. «Мне будет за пятьдесят, когда ей — под тридцать. Женщине под тридцать каждую ночь нужны три палки. А где я их возьму — три палки?»

Он звонко щелкнул языком, дружески ткнул меня и, повернувшись, легко зашагал под просверк солнца — навстречу своей судьбе.

IV

Нынче я готов определить пункт, где разошлись наши дороги — как-то, в канун дипломных экзаменов я оказался engage.[47] Мечтательно горели и без меня воспетые звезды. Район, к которому я себя тщетно приручал (предчувствовал, должно быть, что он мне дальше не понадобится), повторял стандартные окраины Москвы искусственным размахом ночного неба да повторявшимися блоками домов, внушавшими мысль о полисемии комплекса. Вспыхивали и гасли два близнеца, днем обращавшиеся в семафоры. Асфальт был только что полит; но поливщик как раз производил новый заход, завлеченный аурой повтора. Это его дурацкое развлечение — каверза тролля, коверкавшего ночь, — довершало образ спящей улицы. Была тут какая-то рифма к прожитому дню, привычно ускользавшая от плошавшего рассудка: я шел к своей мещаночке, по обыкновению примеряясь к собственной участи: *коли воображение есть первообраз бытия, которое мое наваждение было так предметно и населено, и что за цель преследовала судьба, производя эти подмены: вовсе ненужный мне институт, принудительную женитьбу, соглядатаев вместо родни и каждодневное возвращение ко всему этому в час первой стражи?* Впрочем, это у попутных размышлений имелась оборотная, мнимо-заманчивая сторона, верное утешение l'homme moyen sensuel:[48] *выбор совершенный* и замечательный уже тем, что произведен был до времени — раньше тех, раньше других, и уже имелись результаты в наличии (диплом, жена), обещавшие ясную перспективу завтрашнего дня, повторявшего нынешний или послезавтрашний.

Никто не встретился мне в пути; и тротуар между однорослыми липами был не замешан в противоборстве гигантских теней, ибо царило полное безветрие: мирно висели фонари на дорогой, горел огонь у охранника при въезде на площадку для парковки, да по небу бежала луна, точно в погоне за гоголевским персонажем.

Дом ныне отставной жены замыкал двор, ничего общего не имевший с диккенсовскими задворками, на которых я рос: был он, в сущности, сквер, разбитый на газоны и оазисы с проездными путями вместо аллей. Тот, каким мне следовало идти, имел вид эспланады. Ночь, впрочем, преображала сей в натуральную величину сфабрикованный макет, отменяя очертания буйно разросшихся кустов жасмина и симметричных ив, преувеличивая темноту и ощутимое присутствие тайны. Под чарами обаяния темноты и тайны я всякий раз замедлял шаги в ожидании

никогда не имевшегося здесь места происшествия. Не устаю поражаться гениальной естественности, с которой ночь вела партнера в эту мою одностороннюю игру: меня негромко окликнули.

Незачем говорить, что в рассуждении полуночи рост или тренинг обращаются в ничто простым призывом о помощи. Микроскопическая надежда, что я ослышался, исключена была вздорной акустикой двора, в которой шарканье подошвы мнилось громогласным. Не мешкая я пошел на голос — с кристаллом льда в сердце, с ключами в кулаке, единственным моим оружием. Благоразумие мне не позволило сразу войти в патину кустов, где ослепленный кромешной темнотой я был бы вовсе беспомощен; но положение было тем неслыханней, что приглушенный и полный ужаса голос настойчиво звал подойти, между тем, как инерция внезапности мешала мне понять, где, собственно, прячется милый партнер, и никакой ясности не внесла луна, индифферентно вышедшая из-за тучи.

Зачаточная догадка, что участвую в глупом и недостойном розыгрыше, обратилась в уверенность, когда неизвестный — голос был мужской, — ответил, что лежит насупротив меня и попросил меня присесть на корточки. Я подчинился — заранее предвкушая, как проучу неосторожного шалуна; подозрения мои не рассеялись, даже когда он сказал, что ранен — мог он быть и помешан, и пьян, да, впрочем, я именно решил дознаться… Улыбаясь, благо глумливая темнота скрывала и меня, я спросил, чем могу быть полезен — перенести ли его на скамью или пойти за санитарной каретой? Я повторил вопрос; и не сдерживаясь более спросил, да не оглох ли он вследствие полученного ранения, и сейчас же цепенящее, ничем не подтвержденное сознание, что в палисаднике мы не одни, родилось во мне, как под чьим-то пристальным взглядом. Сидя на корточках, я оглянулся — и похолодел. Позади, в придомном газоне, в каких-то десяти шагах, я различил закамуфлированного листвой и темнотой мужчину, и рядом — или то казалось? — женщину. Рассеянно и отчужденно прошла мысль, что они, как и я, свидетели. Все же мне понадобилось все мое мужество, чтобы подняться без излишней неторопливости и, не спеша, направиться к ним. Не приближаясь — довольно было и пяти шагов — я сказал им, что в кустах лежит человек, который говорит, что ранен.

«Ну, лежит» — сказал мужчина. (По выговору я тотчас признал в нам одного из жителей окраины, во множестве переселенных сюда при последней реконструкции).

«Так он действительно ранен?»

«Еще бы» — был ответ.

Захныкал ребенок — освоясь в темноте, я разглядел силуэтами представленное семейство: мужчину, женщину и девочку-подростка лет, может быть, десяти.

«Так не знаете ли, кто его ранил?»

«Я ранил» — сказал мужчина и, отводя от лица ветки, вышел ко мне в зияющий лунный свет. Был он и старше меня, и крупней, и благородная мысль схватить его нелепа была уже тем, что он не пытался ускользнуть — напротив, и нечто непреклонное скользило в его повадке, — и присутствием его ребенка и жены, которых гений этой ночи незамедлительно предъявил мне в пуантилическом соответствии с логикой кошмара. Ибо я уже начинал понимать, что ошеломление и пронзительная безнадежность, с которыми я несколько пообвыкся, заключались не в самом злодеянии или в незнании мной сюжета распри, но в отчетливости постановки, последовательно опровергавшей всякое рассудочное суждение. Немедленно, со сновиденьям свойственной педантичностью исполнялось все, что еще только мерещилось мне, еле различимое и зловещее, на дальней границе воображения: я оказался втянут в камуфлет, стоило мне подумать о приключении; к рисовавшейся внутреннему взору шутовской раскраске стремительно примешались карминно-бурые тона; жертва, как то пристало бы ей, не требовала ни милосердия, ни справедливости из боязни еще худшей участи (ведь злоумышленник был поблизости); и злоумышленник не только не желал скрыться или изъять следы, докончив начатое, да распорядившись трупом, как учат фильмы и статистика, но со своими домочадцами спокойно ожидал на лужке любого разрешения комбинации.

Это последнее положение мне дало идею, что судьба назначила меня в посредники — и невозможность промедления была тем очевидней, чем громче становился девочкин плач.

Негромко, любезно — готовый отразить разящий удар или иную безумную выходку, я предложил сходить за санитарной каретой.

«В милицию позвони» — сказал мужчина.

«Почему бы вам не позвонить самому?»

«Делай, что говорят».

Я отправился, с нарочитой деловитостью, к автомату при входе во двор, и по сей день вспоминаю сказочное ощущение освобождения по мере приближения уличных фонарей, да взапуски с моим нетерпением реявших фантастически дружелюбных голосов.

Добрая фея просила встретить санитарный фургон,

правосудие не нуждалось в провожатом. Оправивши раскисший воротник рубашки, я вышел из кабины с намерением ждать развязки здесь, у мною названного в качестве топографического ориентира мебельного магазина, в сени его неоновой вывески, которой нынешней ночью я навсегда простил прежде меня раздражавший изъян в виде перегоревшей литеры «Б» и безобразный, ирреальный свет, в витринном отражении меня обращавший в призрак. Прохаживаясь, отирая испарину и поздравляя себя с тем, что не валяюсь, добросовестно зарезанный в неухоженных кустах (поливщик сгинул; и тут, и дальше улица была пустынна, как, впрочем, и проспект, откуда пролагалось прийти спасению), я поневоле прислушивался к каверзной тишине к востоку от меня. Решительно дебелому мужлану благоразумнее было б сдаться властям, а не торчать во дворе со своим выводком да еще требовать, чтобы я — Я! — хлопотал об его аресте. Тотчас же, ибо страх пережитый отзывал ненавистью столь же безоглядной, я решил присмотреть камень или сук и до приезда милиции отучить наглеца орудовать мирными соседями. Однако, этого не суждено было. Со стороны двора — и, значит, поиски оружия более грозного, чем два ключа от английского замка, были подсказкой близкой интуиции, раздался жуткий женский вопль; драматургическая версификация пролога.

Я был бы лжец, кабы сказал, что сломя голову ринулся в темноту; и, говоря абсолютную правду, вижу себя обязанным заявить, что обстоятельная неторопливость моя вызвана вовсе не нежеланием сызнова подвергаться опасности. Благословенная передышка (прошло, может быть, десять минут) произвела во мне благотворную ревизию, и отвлеченная угроза анонимной жизни при минутном отстранении подтверждала ценность собственной уже тем, что именно не был посвящен в историю, то бишь мог быть устранен, от негодяя защищая негодяя еще большего, и вот что знаменательно: то относительное хладнокровие, какое мне позволило предпринять немногое, что привожу, покинуло меня, и только страх перед страхом более одушевленного порядка («Как стану жить, точно барана дав зарезать неизвестного, вверившегося мне?»), меня понудил возвратиться во двор.

С тех пор, как я покинул его — четверть века, четверть часа — глубина темноты налилась могильной чернотой, и каждое ее средоточие, каждая адская тень служили прикрытием призрачным мертвецам и призрачным убийцам, вытирающим клинки ни в чем не виноватой листвой. Случись такое, мне б ничего не осталось, только разделаться с ним. Но как?

Из темноты до меня донесся его голос. Хотелось послушать, что он говорит. Он говорил, будто рассуждая сам с собою с какой-

то лунатической медлительностью: *«Я* тебя предупреждал. Предупреждал или нет? Теперь за тебя на кичу поведут, а у меня жена, ребенок. Ну что с тобой за это сделать? Смарать тебя, дурака?» — и необыкновенно трудно мне теперь с требуемой силой закрепить на странице ощущение мгновения, паузу между вдохом и выдохом: еще вибрировавший у меня на внутреннем слухе вопль его жены; ее ощутимое отсутствие и на боковом зрении вспыхнувший квадрат окна в нижнем этаже; прохладу; ключи в набрякшем кулаке и темноту, когда в неимоверном напряжении превозмогая гнет услышанного, я, точно в следующее по порядку измерение, перешел в сознание бессилия слов. Ибо наметилась некая бредовая связь: ничто не имело значения, пока слова давали выход ярости в преддверии неминуемой перемены, но механизм безумия пришел бы в действие, стоило б ей запоздать и одному из нас троих не перенести ожидания, и в том была фатальность, в том состояла невозможная мечта, чтобы тисками воли вовне удержать перекошенное равновесие.

Издалека, сквозь утихающий в голове гул, дошло подтверждение. В полном упадке сил физических, в распаде большем, чем в состоянии пересказать, я пошел со двора, бросив моих поднадзорных, не так полагаясь на результат медитации, сколько уверенный, что тонкое, но отчетливое пение сирен слышно не одному мне.

Я вышел на улицу. В стороне города там, где оранжевое свечение достигало чернильно-синих небес, уже шло приготовление: точно в ладони престидижитатора возникая[49] и пропадая между домов, вровень с райками окольцованными радужными бисеринами фонарей продвигались два огня, их поступательные возникновения сопряжены были с их мерцательной пульсацией и даже, если бы не голоса сирен, дуэтом тревоги и надрыва оповещавшие об их приближении, все равно я стоял бы тих и свят, завороженный зрелищем сбывающейся судьбы.

Бешено бились крылатые сердечники под колпаками мигалок. Мне пришло в голову, что родство с кинематографом — теми интригующими прелюдиями, какие предшествуют перечню ролей, — достигается на меня наплывающими фарами, двоящимися и троящимися лунами со смещенными подобиями, пронизанными светящимся веретеном… Тут раскрывается притча этой ночи.

Не без известной торжественности, в скромном сознании исполненной гражданской миссии в последний раз я возвращался во двор, за собою ведя послушные огни (припоминаю вздрог изумления при виде собственной монументальной тени). Крикнув

мне, чтобы посторонился, энергичный водитель санитарного фургона перевалил через бордюр и двинулся, было, напрямик, ревя и ломая кусты, да так и застыл, валко наклонясь над прогалиной света (милицейский ГАЗ еще раньше отстал и притушил фары). Шофер, санитары и докторша выбрались наружу с весьма неожиданным проворством, громко друг другу перепоручая носилки (так и не вытащенные), и, помнится, меня поразила — поразила с мучительной силой — их неуместная и, я бы сказал, противоестественная веселость, но простонародного вида молодец, по чьей милости я претерпел столько душеубийственных минут мне уготовил разочарование безмерное. Он, несомненно, принадлежал к нынче мне знакомой разновидности перронных подростков, каких встречаешь где-нибудь в Одинцово или Вешняках в компании маленькой дуры и радиолки, но был старше — этак года на три старше меня, и утешительная мысль, что действовал из некоего общечеловеческого принципа, становилась все абсурднее по мере того, как, польщенный вниманием, он продолжал улыбаться бессмысленной и откровенно придурковатой улыбкой, раскинувшись на освещенной фургоном мураве. Сколько б я дал, чтобы увидеть его в самом начале истории!

Он все улыбался, между тем, как санитар поворачивал его на бок и обследовал рану с изнанки плеча, отлепляя успевшую уже присохнуть материю канареечной футболки маленькими рывками, зудом отзывавшимися у меня под коленями, но, видимо, безболезненными для пациента, лучившегося в пароксизме решительно мне непонятного торжества — непонятного тем более, что рана в тон дыханию производила негромкий тошный звук вроде присвиста, что ли. Этакой улыбчивой эйфории не могла дать даже мстительная услада от сопоставления со страданием совсем другого рода: застенком, обещанным второму присутствием властей. Санитар выпрямился. «Слышишь, Васек, — сказал он — поднимайся. Ну давай, пошевеливайся, некогда тут с тобой!», и только тогда, в бесконечно запоздалом прозрении, до меня, наконец, дошло, что недорезанный болван еще и пьян, точно ножевой раны с него было мало, и ни на золотник страдания не усмотрел бы безусловный гуманист в дальнейших прениях на предмет, способен ли он самостоятельно переместиться в фургон.

Самое время было мне отправиться к жене, кабы не некая инерция больниц и тюрем, где обретаются мои персонажи. ГАЗ все еще стоял поодаль, темный внутри, с отливом лунного глянца на капоте, и как бы уменьшившийся в размерах, будто ночь исподволь обратила его в обычную подробность местного

ландшафта, и мирно дотлевали сигаретные огоньки у заднего крыла, где толпились тени, да при ближайшем рассмотрении обманчиво вкрадчиво поблескивали наручники на арестованном, доканчивавшим свою короткую повесть, и милиционеры молчали, привычно деля с ним первые минуты участи, и только самый старший по возрасту кивал, слюня пальцы их клевками гася окурок и подгоняя форменную фуражку к доброй голове, и не дай мне Бог когда-нибудь забыть, как в эту строгой печалью полнившуюся минуту ожил передатчик у него в портупее, и сквозь треск и завывания в эфире дискретный диспетчер принялся сзывать все патрульные машины на окружное шоссе, к ночному кабаку, где разыгралась массовая драка, и, точно откликнувшись на в пространство обращенный призыв, санитарный фургон зашевелился, грузно выбрался в проезд и полетел восвояси — то ли в сердце города, то ли на небеса, пославшие мне испытание, а следом и карета осужденных медленно покатила со двора. Я же остался, у горла зябко прижимая лацканы пиджака и глядя, как разогнанная ударами мигалок постепенно возвращается темнота.

Читатель! Не было ровно ничего непроясненного, либо противного рассудку до того, чтобы, бередя аналитическую память, сызнова возвращать мне ту или иную пуанту или переживание. Но под влиянием нахлынувшей росной свежести да угасания внутреннего жара у меня мало-помалу стало складываться не до конца еще оформленное, определенно мистическое чувство, будто понимаю Промысел или хотя бы сбывшуюся его часть, задним числом представленную событийными рифмами, гениальными импровизациями (мне ли не знать этого ныне!). Да, стоило мне уверовать в провиденциальность случая, и я уже мог с улыбкой посвященного отметить и оценить блистательную иронию, с какой судьба дала мне понять, что непредсказуемы ближайшие четверть часа — мне, час назад уверенному, что на года приговорен к однообразию! И больше того: за одушевленностью исполинов брезжила мне робкая, но пророческая надежда, что коли стану рассказывать о жизни, жизнь расскажет мне стократ, и столько же еще я буду смеяться и пролью слез над ее несравненным рассказом!

Темнели три заветных окна на моей стороне — меня не ждали. Но предоставленный сам себе в ночном безмолвии (еще населенном гаснущими образами, меркнущими голосами — чем не прообраз небытия?), я не страдал, напротив сердце мое преисполнялось гордости и дерзновенной отваги (из этих двух и вырастают крылья!), и я рассматривал пустые окна с осознанной ясностью будущего во споминания.

V

Так, обмирая и ободряясь в зависимости то ли от расположения берилловых звезд, так ярко горящих у нас, в небе Провинции, то ли от переменчивости окраски собственных видений, я углублялся в призрачную область золотых единорогов и зеркальных садов, где пророчество открывалось в сонете, откровение — во сне (таблица элементов, бензольное кольцо, Кубла Хан,[50] Песня Кэдмона),[51] тайна — в числе, рок — в совпадении. Рациональный гегельянский тезис, представляющий судьбу как неведомую часть нашей натуры, какую в венском затворничестве обратил в эпическую поэзию Негг Доктор Фрейд, и которая нас понуждает в сакраментальном действовать вопреки, вовсе обходил молчанием сокровенные мелочи, прилетающие к нам из тенет времени или из собственных наших воспоминаний: повторяющаяся беседка, строка из юношеского мадригала, памятная дата или прирученная мелодия — словом, все то, что, как некогда говаривал автор породистей меня, «логик не терпит, а поэт обожает».

Без сомнения, возвращаясь к нам, они, эти драгоценные безделки, вырастают до размаха их воскресивших обстоятельств и окрашиваются в несравнимые по густоте тона прошлого и мимолетного предчувствия — и надобно ли говорить, что предчувствие всегда сильней, чем чувство? Я не припомню в этом пункте ничего более совершенного, чем мною раздобытый в Тацитовых «Анналах» параграф IXX из книги XV, где Нерон / тушит заговор Пизона: «Вслед за тем, он велит умереть Аннею Лукану. И когда тот, истекая кровью, почувствовал, что у него холодеют руки и ноги, и жизненная сила понемногу покидает тело, хотя жар его сердца еще не остыл, и сознание не утратило ясности, ему вспомнились сочиненные им стихи, в которых изображался умиравший такой же смертью раненый воин. Он прочел эти стихи, и то были последние произнесенные им слова[52]…», и не могу нынче передать без священного волнения миг головокружительного упоения, когда я, в одинокую пору ученичества так нуждавшийся в благословении отеческой руки, открыл в фамильном нашем издании Пушкина, Ектеринославъ, книгоиздательство Ротенберга, МСМХШ, фолианте с черным авантитулом, в Бог весть сколько раз опрометью прочитанной главке из подготовительных отрывков к «Египетским ночам», что как и я, кумир мой думал, дышал над участью Петрония — Пушкин ли не был Арбитром! — в воображении разделяя с Петронием последние часы: «Мы уже достигли Кумъ и уже

думали пуститься далъе, какъ явился къ намъ посланный отъ Нерона. Онъ принес Петронію повелъніе цезаря возвратиться в Римъ и тамъ ожидать ръшенія своей участи, вслъдствіе ненавистного обвиненія. Мы были поражены ужасом; одинъ Петроній равнодушно выслушалъ свой приговоръ, отпустилъ гонца с подаркомъ и обявилъ свое намъреніе остановиться въ Кумахъ …» — «И он не стал длить часы страха и надежды. Вместе с тем, расставаясь с жизнью, он не торопился ее оборвать и, вскрыв себе вены, то сообразно своему желанию перевязывал их, то снимал повязки; разговаривая с друзьями, он не касался важных предметов и избегал всего, что могло способствовать прославлению непоколебимости своего духа. И от друзей он также не слышал рассуждений о бессмертии души и мнений философов, но они пели ему шутливые песни и читали легкомысленные стихи. Иных из рабов он оделил своими щедротами, некоторых плетьми. Затем он пообедал и погрузился в сон, дабы его конец, будучи вынужденным, уподобился естественной смерти…»,[53] ets.

Иной сметливый читатель, может статься, решил, что я вдавался в науку, состоящую в дальнем родстве с герменевтикой — но все равно, sub specie aetemitatis,[54] связь, которую я тщился понять, была связью во времени путем познания воображением, и эти мои совпадения мне внушали чувство, сходное со зрелищем орлиного полета, видимого с Палатинского холма (Valeria, ae[55] — латинский этимон моего звездного имени).

«Yous ne connaisses pas ets gensia: yous yerres qu il faudra jouer des conteaux…»[56] «Онъ быль печаленъ и имълъ странныя предчувствія»… Арба с воловьей упряжкой, в сопровождении молчаливых грузин медленно одолевающая каменистый скат в лучах заката, приметный шрам на руке, простреленной на дуэли с Якубовичем… «Не знаю ничего завиднъе последнихъ годовъ его бурной жизни. Самая смерть его посреди смълаго, неравнаго боя не имъла для Грибоъдова ничего ужаснаго, ничего томительнаго. Она была мгновенна и прекрасна»…[57]

«Онъ быль печаленъ и имълъ странныя предчувствія»… В главке VI главы пятой «Евгения Онегина» монах и заяц, несомненно указывали на другой chefs-daerries de litterature:[58] «Я всегда думала, что ты меня убьешь. В тот день, когда я тебя первый раз увидела, я как раз, выходя из дому, повстречалась со священником. А сегодня ночью, когда мы выезжали из Кордовы, ты ничего не заметил? Заяц пробежал дорогу между копыт у твоей лошади. Это судьба..»,[59] но не блестки дивинаторного искусства,[60] прихотливо рассыпанные в главках V–XXIV, пленили мой ум, а вещая преамбула в автором навеянном

Татьянином сне, где Ленский погибал — и дальше, под листопадный шелест страниц греза неспешно оформлялась в очертания пуантилической яви: в алую полость пистолетного ящика, в черные плащи на белом снегу, — но удаленный силуэт, зыблющийся вровень замирающему покачиванию граненого ствола, раздваивался и на слуху выстрел звучал дуплетом, эхо в ближней рощице, куда отвели лошадей, не затихало, но отделясь от четверостишия с опоясывающей рифмой,[61] продолжало звенеть… Происходила дивная и страшная мутация: редела и рассеивалась филигрань романа и сквозь ее тающий флер пристальный взгляд уже различал радужный след полозьев — историческая кондитерская, историческая среда — и влезающего в сани полковника Данзаса, с д'Аршиаком разработавшего пункты дуэли a outrance,[62] но о враче не позаботившегося a la сосед Зарецкий, и вместе с перекличкой выстрелов начиналась перекличка тем в этой последовательной цепи приближений: все совпадало: январь, близость реки (Черной речки), тема сестер (Лариных, Гончаровых), тема неосторожного флирта (как трогательны попытки историографов реабилитировать Наталью Николаевну, т. е. понять женщину, не ведавшую, что творит!), и под фатальным знаком совпадений пружина пружин приходила в движение: д'Антес получал свидания на квартире Идалии Полетики, в кавалергардских казармах (он в самом деле красив казенной правофланговой красотой на литографии Бенара, Жорж д'Антес-Геккерн, «ничтожество» по выражению Екатерины Мещерской, «сменившее три отечества и два имени»), 25-го января имели место новый пасквиль и новое признание м-м, и 27-го января, сбитый с ног пулевым ударом, Пушкин приподнимался в снегу, крича, что поединок не кончен!

Спрашивалось: с 26–го января (каково совпадение!) 1834-го года («Баронъ д, Антесъ и маркизъ де-Пина, два шуана, будут приняты въ гвардію прямо офицерами. Гвардія ропщетъ».) и до 27–го января 1837–го года (на обратном пути, Данзасу: «Кажется, это серьезно. Послушай: если Аренд найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу…») приходило ли ему на ум, на балу у Воронцовых, что bien-aimée[63] разговаривает, смеется и вальсирует с из собственного персонажа развивается монстром — и я ли один сличал вехи и с трепетом всматривался в мартирологический туман? Лермонтов, до своего смертного часа не перемолвившийся с вдовой ни словом, был в тех же мыслях, что и, по свидетельству Гроссмана, девушки из Тригорского («Владимир Ленский здесь лежит, — погибший рано смертью смелых…»),[64] однако, в рассуждении предчувствий, не знаю ничего равного письму А.А. Бестужева,

зарубленного в том же 1837-м году, ввиду мыса Адлер, при высадке морского десанта: «Я был глубоко потрясен гибелью Пушкина, милый Павел, хотя эта новость была сообщена мне очаровательной женщиной. Неожиданное горе не проникает в глубину сердца, говорят, оно воздействует на его поверхность; но, несколько часов спустя, в тишине ночи и одиночества яд просачивается внутрь и распространяется. Я не сомкнул глаз в течение ночи, а на рассвете уже был на крутой дороге, которая ведет к монастырю святого Давида, известному вам. Прибыв туда, я позвал священника и приказал отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой невежественными ногами, без могильного камня, без надписи! Я плакал тогда, как плачу теперь, горячими слезами, плакал о друге и товарище по оружию, плакал о себе самом; и когда священник запел: „За убиенных боляр Александра и Александра“, рыдания сдавили мне грудь — эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предзнаменованием… Да, я чувствую, что моя смерть так же будет насильственной и необычайной, что она уже недалеко — во мне слишком много горячей крови, которая кипит в моих жилах, слишком много, чтобы ее оледенила старость. Я молю только об одном — чтобы не погибнуть простертым на ложе страданий или в поединке, — а в остальном да свершится воля провидения!»[65].

Не надобно думать, что мое бытие, по существу, свелось к паллиативу между dessous[66] и раскопками безвестного кашлюна, самоотверженно обрастающего пылью в подземельях библиотек — о нет! Но в дальнейших моих скитаниях, естествоиспытателя, авантюриста (тренера бокса, коменданта театра, школьного учителя, монтера в гостинице, ретушера в ателье), я чувствовал себя наследником исключительного бремени, исключительного права, ибо наедине с собою — род одиночества, какого справедливо страшатся клиенты фешенебельных бань, пестующие себя и свою импотенцию (никогда не забуду, до чего забавно они, тишком ползя вдоль обочины в своих ноль-третьих и ноль-шестых, строили куры женщине, которую я любил!) — о, наедине с собою я погружался в полуреальное полунебытие, попеременно пребывая то на седьмом небе, то в аду; там и там горние голоса были мне спутниками, а проводниками — славные тени; но вопрос, некогда волновавший автора «Героя нашего времени», в романе с точностью до шести шагов провидевшего свою трагедию у Перкальской скалы: «И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок?», не однажды вставал передо мною оправданием собственных предчувствий, с очевидностью большей, чем сумею сказать.

Судьба благоволила мне: вообрази, читатель, мне

посчастливилось отыскать рифму к моим экс-свиданиям в далеком лагере, на муравчатом скате — совсем близко, в шекспировском сонете LXXIII «Во мне ты видишь то сгоранье пня, когда зола, что пламенем была, становится могилою огня, а то, что грело, изошло дотла, и это видя, помни: нет цены свиданиям, дни которых сочтены» — и другую, к соматическому моему влечению к закату «Когда закат пронзает гребни гор и каменные тучи блещут в славе, я сам с собой веду злосчастный спор: не я ли тенью таю в этой лаве?» — в стихотворении де Унамуно.[67] Тем не менее, применительно к собственной участи я оставался слеп, даже если иной раз случалось мне с замиранием сердца распознать те или иные приметы рока: его бесшумный промельк, тигриный след.

Я заготовил изящный постскриптум к этой главке. В один из первых наездов в Метрополию, я возвращался в гостиницу после сутолочного дня, томимый той размаянной усталостью, какой отзывают не списочек разнокалиберных поручений или злые хвосты очередей, но самое сознание, что ты — пузырек в прибое супергорода, среди коловращения ночных огней особенно невыносимое. Дабы избавить себя от следующей пытки: конвейерного спуска в бездонном цоколе навстречу процессии безнадежно незнакомых лиц, я нанял такси, не заботясь о деньгах, кляня и призывая завтрашний день — и неожиданно получил баснословную передышку, какую обещает разве что сказочная мечта войти в зеркало. Я точно сделался недосягаем и неуязвим за оборотом лобового стекла и, понемногу оживая в услужливом сиденье, уже чувствовал, как наркотик скорости исподволь убаюкивает меня, навевая прежде заочно знакомые, вечно милые картины: Башни Кремля, Манеж — между тем, как диско-романсик из радиолки промеж сидений давал забавную антифонию зрительному апофеозу святынь, под космогонические пассажи синтезатора зовя жить быстрей, петь веселей, умереть молодым, и чуть подергивался рядом насупленного вида водитель, одобряя ритм, а голос пел и пел, неся нас в кавалькаде по разворачивающейся кривой, и одиночество, только что нестерпимое, было теперь почти родным, как ласковое равнодушие мира.

Мы повернули, с заносом обойдя маститый лимузин с частными номерными знаками, тенью заскользивший за нами навстречу исполинскому зареву проспекта.

Черное после полива дорожное полотно, чередовавшее отражения фонарей — зыблющиеся, огненные — против обыкновения было не запружено: то был особенный прощальный час, когда уже закрылись бары и произошел разъезд, но что-то

еще оставалось в самом воздухе, уже ночном, уже осеннем: абрис прозрачно гаснувшей двери, парочка медленно растворявшаяся в темноте…

От этого ли ностальгического, почти музыкального угасания, то ли наоборот, в подтверждение ему, проспект с уже простершимся над нами иллюминированным небом мне показался необыкновенно широким, неправдоподобно пустым — и тотчас, почуя новые возможности, тень наша приблизилась с шипением шин, продолжая нами начатую тему гандикапа.[68] Привольно развалясь в услужливом сиденье, я уловил, как сдвинулись сросшиеся брови моего водителя, регистром выше сделался посвист ветра; но я так и не посмотрел, восстановился ли интервал, ибо вдали, у погасшего уже кафе под эгидой кинотеатра мой праздный взгляд привлекло карликовое, но быстро дораставшее до обычных размеров и решительно банальное трио: двое развинченных дылдоватых парней и жиголетта в мерцающем дождевичке, видимо обнадежившая их и теперь отбивавшаяся — бешено, дико, с последней надеждой, безо всякой надежды — и вдруг чудом вырвавшаяся из ловивших ее рук. Отказываясь верить глазам, я увидал, как она опрометью бежит к дороге, к пылающему коридору фар, в которой мчалась машина — и вот, возникла перед нашим капотом как обреченная птица, как сама безумная и безнадежно погубленная юность — и пропала, со мною растворясь в швырке и пелене радужной мути. Ладонью зажимая о ветровик расшибленную скулу, оборотясь, я увидал ее, исполнявшую то же короткое, смертельное адажио перед капотом нас настигавшего лимузина — и снова она выпорхнула, живая, нераздавленная, без малейшего ущерба, ежели не считать бампером напрочь оторванную полу дождевичка и, уменьшаясь, оставаясь, оставаясь жить, в картинной истерике повалилась посреди дороги.

Безымянный виртуоз со мной рядом сбросил газ (я позабыл заглянуть в его жетон, и нам суждено было остаться просто гражданами мира). Проспект кончался; позади оставались в углах домов горевшие габаритные огни, и радиолка молчала, как мне показалось, давно. Мы медленно плыли в ночном сверкании.

Медленно, машинально, глядючи прямо перед собой, он расстегнул клапан на куртке и протянул мне сигареты («Благослови Господь наших таксистов, столичных и провинциальных!»), и, закурив, мы вдались в пункт механического детерминизма, который не дает нам окончательно преодолеть наследие отцов.

«Но до чего счастливая сучка! — сказал он хрипловато. — Вот кому теперь жить да жить. Это же надо, такое везение!»

«А если ей готовится конец страшней, но более закономерный?»

«Никогда. — сказал он. — Бог, кого любит, того не оставит».

«Вы думаете?» — сказал я.

VI

Год спустя и в ином качестве — не пассажира, но постояльца в респектабельной квартире переводчицы при нашем посольстве в Париже (обманчива и переменчива наша жизнь!), в соседстве с гостиницей, под чей гостеприимный кров так торопился той незабвенной ночью, мне довелось видеть одно из воплощений моей темной темы, отзывавшее то ли Бернсовским хрестоматийным стихом, то ли тургеневским эпилогом, когда убеленный сединами персонаж сидит, уставясь в камин и высматривая каверзный угол, за который зацепилась ткань его судьбы. Не однажды, в схожем уединении возвращаясь к ночному диспуту с моим таксомоторным философом, сознавал я присутствие точно за мысленное отточие вынесенного феномена греха и возмездия, и будущность у смерти на пути метавшейся дурочки занимала меня так, как в детстве воображением завладевала непостижимость перевоплощения падучей звезды в ноздреватый экспонат.

Случилось так, что во временных моих владениях я принимал литератора, любимого публикой и мной и попросившего у меня квартиру для rendez-vous — однако, дама не пришла, кончался роман, а с ним и беспримерно жаркое лето того года (Боже мой, мог ли я знать, до чего скоро и как безжалостно переменится моя судьба?)… Мы развлекались беседой, привычно злословя обо всем на свете, как это принято среди людей нашего ремесла и ожидая пока спадет жара, когда наше внимание привлек негромкий, но чрезвычайно назойливый скрип, а следом и опрятный старичок появился ввиду нашего эркера и потащился с букашечьей неукоснительностью в полуциркульный подъезд, за собой волоча склеротически скрипевшую колесную сумку, но, не дойдя, точно раздумал — стал, закружился и опрокинулся на асфальт, звучно ударившись затылком. Он был в сознании, когда мы подоспели, и все бормотал, что причиняет нам массу хлопот, покамест мы вели его до лифта, и в кабине при скверном свете плафона я заметил, как в глазах моего товарища погас разбойничий блеск, в которым всегда светилось понимание мира, более мудрое, нежели мое.

Не надобно было чрезмерной проницательности, чтобы в бедняке распознать породу одиноких и безропотно гибнущих стариков, но я не мог не дрогнуть, в его лепете разобрав, что он страшится последствий падения оттого, что жена не встает, и может статься, некому будет выйти за провизией. Он извинялся — извинялся, что не имеет возможности пригласить нас в дом, пока мы возились с замками. Потом дверь захлопнулась, на

прощанье обдав нас смешанным запахом затхлости и корвалола.

Не надо говорить и того, что, выражаясь хамским языков статистиков, эту проблему естественно была занести на счет нерасторопности заведений общественного презрения, что мы и сделали, не перемолвившись ни словом, откупившись от переживания тем, что тотчас и расстались, как подобает сообщникам (термин «complicite morale»[69] особенно уместен в данном контексте).

Но позже, мучимый бессонницей, я не мог не вернуться к дневному происшествию и, свесившись из своего эркера в ночь, предался тому занятию, которое даже софист определил бы как fausse reconnaissance[70] и постепенно в разгоряченном, почти осязаемом воздухе старик явился мне, достигающий головой звезд в преданности своей жене, между тем, как дьявол нашептывал мне, что не знаю ровно ничего об их жизни, и быть может в личине старости доживает свои дни прошлый эгоист, либо открывшийся мне ад одиночества венчает длинную цепь измен и на закате жизненного дня дан в искупление распутной паре. Однако, я не мог не дать себе отчет в более низменной и как бы нагишом стоящей передо мною мысли, что коли возьму опеку над незнакомой недееспособной четой, не обернется ли она моей Голгофой?

Так роковая моя трусость плюс бредовая надежда увидеть их чудесно исцеленными Провидением и рука об руку шествующими по двору с той восхитительной и почти маниакальной оживленностью, с какой на мумий похожие travelers снуют вокруг памятников и храмин, мне позволили еще два дня длить неведение. Вечером третьего, на исходе пятого часа я все же отправился, по-светски заготовив вежливое выступление о нашем соседстве и пакет с диетической снедью, понуждаемый, как понимаю теперь, подспудной потребностью в собственном успокоении. Никто не открыл на мой звонок, ясно отозвавшийся на лестничной площадке. Постояв перед дверью — беленой, со старомодной медной ручкой — нет, я б не спутал ее ни с какой другой, я вызвал лифт, и когда его створки съехались за мною, с блаженным вздохом привалился к стене кабины: я поступил comme il faut,[71] не в чем и некому было мне сделать упрек, и ежели что и тяготило меня, так только пакет с моими даровыми дарами.

Я не намерен томить теперь читателя попеременными наплывами ипохондрии и самообмана; часом позже и будто бы невзначай от самого себя, я без труда высмотрел им принадлежавшие и ничего не говорившие окна, и по мере того, как день угасал, я вглядывался в них с тем возрастающим

исступлением, с каким бывало много лет назад вглядывался в простершиеся во все небо меркнуще-багряные облака, и чем темнее становился двор, тем явственней кричал во мне голос предчувствия. Нет, это не был вопрос моего личного мужества, но я не мог не узнать истину — пугающую, непосильную, смертоносную, какой бы она ни была!

Я позвонил к ним, взлетев на пятый этаж, и забарабанил в дверь — проклятая, она мне привиделась сущим символом вечной тайны! Готовый разнести ее в щепы, я бился с нею, апокалипсическим грохотом наполняя мирный подъезд, пока не поник — и тотчас осторожно приотворилась смежная дверь, и почтенная пожилая дама в бумажном халате и безрамных очках через запорную цепочку осведомилась, имею ли представление о времени? И только тогда со всей сокрушительной необратимостью свершившегося я понял, что стариков больше нет. Просто нет. Нет, и не дано узнать, куда они исчезли, где они. В реанимации? В богадельне? За Млечным Путем?

Я стал спускаться, под испытующим взглядом женщины поднявши плечи; но пролетом ниже, дав волю слезам, сдавалось мне, понимал иного подвижника, грозящего кулаками небу. Коли нищие духом населяют Царствие небесное и человеческое правосудие в Его руке, как можно было не пощадить двух маленьких стариков и до последнего часа испытывать любящее сердце, и ежели прав был безумный поэт Вильям Блейк, и в любви неоткуда ждать помощи, ни людской, ни небожительский законы не в праве любящим слать испытания, а коли испытания грядут до смертного часа, каждый Ромео достоин Евангелия, каждый Паоло — мессы по Тибальду, и никакой Джон Андерсен не примирится, согласно приговору, с мирной кончиной возлюбленной единственно из радости с нею разделить последнее ложе под безымянной горой, но как Орфей отправится в небытие на поиски своей подруги!

Ворчал мотор прикорнувшего у полуподвального окна хлебного фургона, и двое рабочих на минутку прекратили возню, завлеченные процессом переосмысления эпитафии: «они жили счастливо и умерли в один день».

Тогда же в результате губительно на мне сказавшегося воздействия местных вод со мною сделался приступ почечнокаменной болезни, которой отродясь не страдал (позднее мне попалась немецкая статья, в которой медицинским светилом в подробностях описывалась моя historia morbi[72] с упором на географическую перемену, неизбежную при изгнании). Обиходное и не вполне изысканное выражение больничного врача — «Роди

мне камешек!» — даст читателю представление о мучениях, какие претерпевал (припоминаю одновременно со мной в приемный покой поступившего болгарина с травмой passionnel,[73] усатого и страшно вращавшего глазами), но нынче у меня на памяти совсем другое воспоминание, которое намерен предъявить.

От жесточайших болей переходя к полубредовым прострациям, как, верно, переходят от одного полюса сумасшествия к другому (ибо ночная сестра для меня не жалела одурманивающих отрав), я понемногу перешел в состояние, какое составляет промежуточную стадию блаженства у последователей королевской йоги: исключил страдание, сосредоточился на мигрировавшем внутри меня и раздиравшем мне ткани мелком и гадком предмете и потерял ощущение реальности, просыпаясь то среди вчерашнего дня, то на исходе завтрашней ночи, пока, наконец, камень не вышел, звонко ударясь о днище посудины, и вот покамест его должны были растворить или не растворить в лаборатории, дабы выяснить, подвержен ли литератор рецидиву, надо мною склонился врач, fleur d'elegance,[74]стрижка под бокс, крутой росчерк скул, профессионал (что, с позволения сказать, ценю превыше вдохновения и темперамента), возвещавший конец моему путешествию в Нирвану, а следом и палата стала обретать приличествующие ей реалии больничного застенка, в котором томились мои compagnons d'infortune:[75]двое молодых грузин, в чьи внутренности неисповедимыми путями попал песок родного побережья, старец, простертый под капельницей, и неопределенного возраста персонаж в казенном халате, исподнем белье и тапочках, необычайно услужливый, с бегающим взглядом и восковым лицом, то ли замеченным мною в промежутках между галлюцинациями, то ли мерещившимся, но бесконечно знакомым. Разумеется, я без труда распознал в нем больничного habitue[76] из тех безвредных, суетливых и покладистых юродивых, какие, точно привилегированные привидения или приживалы снуют вовне, в мелких комиссиях персонала находя себе занятие на положении ключницы или соглядатая.

И точно, он был одновременно всюду: вкатывал койки в лифты; выкатывал столики из палат; наполнял грелку грузина; сливал судно старика; приносил таблетки; уносил облатки; наконец, посещал с туалетом сопряженный курительный салон, где не курил, но становился отталкивающе красноречив, посвящая ему приглянувшегося горемыку в прогнозы на выздоровление или помирание остальных (ему доверенные вопреки любому вероятию и врачебной этике), вальяжно клонясь на сторону собеседника, точно в фигуре старосветского флирта. Прекрасно помню, как он смутился первый раз под моим

изучающим взглядом (я лежал, он рыскал по своему дурацкому обыкновению, за какой-то мелочью или в ожидании некрологических новостей), между тем, как я, за неимением занятия более достойного, размышлял, может ли этот фигляр по игре случая быть наперсником судьбы?

Не зная, как толковать мое твердокаменное молчание, он усмотрел во мне человека с понятием и, позабыв остальных, повел дело так, чтобы его невразумительный маршрут соприкасался с моей придверной койкой и всякий раз, что происходило, сообщал мне, тряся головой, что старик под капельницами безнадежен соответственно изустной мере безысходности («Дедушка не жилец…», «Дедушка совсем плох…»). Я поленился сказать шуту, что мне нет до этого дела: помощь — единственная форма участия, дальше все мы предоставлены сами себе (где-то в концах громогласных коридоров скреплялись подписями бумаги на мое освобождение), и в праздных соболезнованиях посторонних не нуждается никто ни в лоне жизни, ни на пороге вечности — но все ж приподнялся на локте, сам не знаю зачем. То, что я увидел, не представляло приятного зрелища. Я не сумел бы сказать, жив ли старик, погребенный в ворохе простыней — однако, померанцевая желтизна кожи наглядно говорила о заключительной стадии цирроза и жутковатая ирония заключалась в том, что мой осведомитель, метавшийся от меня к нему, хлопотал над ним, истово заверяя в благополучном исходе («Все будет хорошо, дедушка…», «Вы еще поживете, дедушка…»), равно готовя ему место на этом свете и на том.

Был полдень, и мы были одни, не считая старика. Грузины сошли во двор погреться на сентябрьском солнышке. Не повышая голоса, я спросил, известили ли родных. Гнус отвечал, что у старика дочь, которую ждут с минуты на минуту — и, озабоченно вертя рукавами куцего халата, улепетнул в коридор. Вскоре оттуда послышались голоса и, топоча каблуками, в палату вошла дочь — неопределенных лет, неопределенной наружности, с пегой прядью в тон прошлой моде, сопровождаемая докторшей и несносным хлопотуном и совершенно разъяренная — чем? Прежде всего, она желала бы сесть (болван сейчас же подлетел со стулом). Затем она учинила докторше допросец на предмет состояния отца, в довольно общих выражениях дав понять, что ему незачем помирать на дому, тогда как здесь, на попечении науки остается пусть эфемерный шанс на выздоровление — надежда, какую практика не смеет отменять, и чем яростней шел торг, тем отчетливей мне виделось, как плащ короля Лира покрывает старика, между тем, как он сам лежал, смежив

морщинистые веки, еле дыша, вовсе безразличный к происходящему. Напротив, всегда обходительный и бесконечно угодливый опекун, проявлял признаки волнения чрезвычайного, слоняясь и беспрерывно теребя поясок халата, конец которого наматывал себе на палец, поглощенный собственным суждением. Наконец, окончательно забывшись, он отстранил докторшу и, обращаясь ко всем сразу, закричал, что стариком следует распорядиться из того, что он в беспамятстве и, разумеется, помрет!

Он еще не закончил своей бедной правды, когда старик заворочался, задышал и с ужасным усилием открыл глаза, полные муки и понимания.

VII

Где-то в позапрошлой главке я говорил читателю, что оставался слеп относительно собственной участи, как, впрочем, и ко всякой самоочевидности, eh bien,[77] развивая эту метафору, могу сказать, что в виде некоей компенсации у меня необычайно развилась иная форма интуиции, которая мне подчас служила единственным критерием действительности, Я ясно ощущал присутствие от зрительного нерва скрытого измерения, где, точно в конце летоисчисления Господня, мирно соседствовали мои божества — феи и апостолы, Шекспир и Иисус, Цезарь и Чаплин, Паганини, строители мира, герои, праматери и короли, и откуда я, Борис Г. Грейнер, серия VIII-BJI, № 552755, черпал уверенность, что мир разумен, прошлое свято и будущее светло. Это оптимистическое убеждение не только мне позволило вывести умозрительное тождество Провидения и Добра, но помогало сохранить присутствие духа, когда при выходе из больницы со мною стряслась другая беда, куда страшней, куда банальней… Природа не терпит пустоты, и в последующие месяцы я, как в чаду, пребывал в какой-то созерцательной прострации, с кривой улыбкой наблюдая, как моя пустота заполнялась фиктивными подружками, мнимыми друзьями, и ни спиртное, ни снотворное не умаляли очеловечивавшей меня душевной боли. Наоборот, самозабвенно внемля всему, что говорило о неразделенной и безнадежной любви, я терзался все более, заклиная былое, но что ни делал, воспоминания теснились передо мной… Таким образом, к Рождеству я молил Провидение об одном: послать мне силы перед лицом грядущего.

Я не берусь припомнить состав новогодней ночи; но прекрасно помню медленно валивший и тотчас таявший снег, когда в сопровождении demi-mondaine[78] вышел на угол докупить напитков.

Шла толпа, как библейский Исход под сизым предвечерним небом, и сплошное снежное марево отменяло циклопическую панораму моста, над набережной возносившего проспект к подножию Экономического Центра. Вблизи небесный просверк холодно горел в стекле припаркованного «Датсуна», играли гирлянды на фасаде английского представительства, сыпал песок горбун в душегрейке, мешкал араб у обочины и позади спортивно-белобрысых финнов степенно шествовал красавец контр-адмирал со своей сухо-породистой супругой, и мы с моею беглой лимитчицей, кубанской казачкой, faute de mieux,[79] естественно дополняли Вавилонский конгломерат, ежеминутно

менявшийся на перекрестке… И над всем этим вознесенное на немыслимую высоту, виделось мне лицо моей возлюбленной, и сызнова я ощутил приближение ледяного озноба, боли от удара бича Божия, какая в переводе на слова означала, что все кончено, кончено непоправимо… Не было больше ее фланелевой пижамки, миндального запаха, атласного отлива на виске, безумных вспышек, бессильных слез. Ах, в первый я не знал, стоит ли жить, коли мы расстаемся с теми, кого любим! И, однако же, жил — и даже отвечал на четкое чириканье другой, цепко державшей меня за локоть…

Что-то померещилось ей среди тротуарной хляби.

Пригляделся и я сквозь мельтешение прохожих и глазную влагу непрошеного воспоминания. Неторопливо темное пятно под голой липой оформилось в силуэт мужчины, лежавшего возле панельной решетки неправдоподобно распластано, точно ножны плоти остались пусты, и еще не видя крови, я ощутил немой толчок рокового узнавания…

Не могло быть и речи о помощи: горловое кровотечение и пепельное лицо показывали на разрыв аорты — и человек умирал, сонным движением окуная щеку в руны своей густой крови, и, как громом пораженный, я разглядел другие страшные подробности: плетенку, оброненную в грязный снег, шляпу в руках у старенькой консьержки, выбежавшей из настежь отворенного парадного, между тем, как ногти спутницы терзали мою ладонь и ее обезумелый шепот заклинал меня уйти, уйти прочь, уйти скорее… Он остановился тише по мере того, как мука сострадания приближала и высвечивала явь, и на внутреннем слухе все отчетливей звучал тот неперескaзуемый напев, который ныне, столько лет спустя, мне слышался пением натянутого нерва, и, заслоняя умиравшего, передо мною снова простерлось зарево заката и снова я был ничто перед величием за ним ревущей вечности!

Но нынче я готов был возлюбить ее, ибо величие не меньшее открылось мне в прожитой и на моих глазах заканчивавшейся жизни. Произошло спокойное слияние: меркло небо, но громады облаков рдели в светоносном парадизе, горний свет был невозможен без тьмы, как жизнь без смерти, честь без поражения, любовь без утраты, и если миг озарения был предопределен темным предчувствием в тайнике души, если свидание было назначено, то чтобы показать, что утрата — не смерть, а свобода.

Несли носилки, расходилась толпа. Тихо причитала моя вульгарная красотка, но уже не рвалась, и знакомый горбун засыпал кровь песком — точно затягивалась рана. И отныне я знал, что умру, умру наверное, как умирали до нас, чтобы

возродиться в будущих поколениях, и это мое знание древнее древних слов в долгой летописи человечества: Non fui. Sum. Fux. Non sum.[80]

Самозащита

Посвящаю моей матери

Когда весть докатилась до К., до школы Янзоборо, до скупо освещенного зала, до ритуального молчания, в котором проходил конец занятий, он, Верзин, сидел на татами спиной к окну, между лежавшими на коленях кулаками глядя в пустой зал; он знал, что не потерял лицо — только это и заботило его в ту минуту, в маленькую вечность; его обязанности в миссии, его разведывательная служба в последний год свелись к работе добросовестного канцеляриста; письма жены в миссию придавали трогательную, пряную прелесть полузабытому голосу родины — то явственней, то глуше звучавшей ностальгической мелодии старого романса; только здесь, в монастырской школе японца с непроницаемым безбровым лицом (его дочери он подарил дорогое, серебром расшитое хибати не потому что девушка нравилась ему — его вполне устраивали гейши в квартале, куда он изредка ездил с другими офицерами миссии, а оттого, что дом Янзоборо — циновки, ширмы, бумажные фонари — занял место, какое прежде занимала его квартира с темной мебелью, с маятником, плававшим за стеклами часов, с видом на разводной мост, на воды Невы, подернутые рябью — такими они помнились, такими хранились в памяти, как в овальном паспарту с затейливой виньеткой), только здесь в часы вечернего безмолвия он не слышал голоса родины; теперь, сидя также прямо, как остальные борцы, как и они сосредоточенно-отрешенный, похожий на них так, словно его и японцев в черных кимоно роднило родство куда более тесное, нежели кровное — родство мужества действия и терпения, чьи каноны стали вехами высшей свободы духа, абсолютного мужества, не знающего ни сомнений, ни страха, ни возраста, ибо в сознании поколений существовали независимо от того, были или не были открыты; открытые, они напоминали реликт: остов скелета в скале, остров, чья неизведанная земля древней морского пути и земли изведанной, обжитой, и уж подавно древней человеческого родства и пути познания, — он уже знал: весть, выкрикнутая босоногим мальчишкой с улицы, сделала его изгоем, и отныне он не может оставаться среди японцев, чинно сидевших по краям татами, потому что не может хранить достоинство иноземца, каким, несмотря на достигнутые пункты мастерства, оставался девять лет; ныне открывшийся ему путь был путем в прошлое, которое все эти годы жило само по себе, становясь неприветливым,

неузнаваемым и — непредсказуемым; наперед, сжигая в камине с изразцами документы особой секретности, сведения, по крупицам добытые им в тайных экспедициях, из газет, в портовых притонах, на приемах в честь сиятельных особ и генералитета, где неосторожное слово по-прежнему расценивалось в тысячи солдатских жизней, где реял призрак недавнего кровопролития, где японки выступали в европейских туалетах, а кухня была пародией на русскую, где сам он был офицером с тонкой ниточкой усов над твердым ртом и взглядом, в котором, как в подернутых пеплом углях, не разгораясь, тлел ледяной огонь ума и несгибаемой воли, чья природа требовала от него послушничества в школе Янзоборо и поединков — тигриной гибкости, пронзительного крика — наперед, меряя шагами кабинет, с высокого борта махнув фуражкой Янзоборо и его дочери — игрушечным фигуркам под игрушечными зонтиками в золотистом мреении портовых огней, вечерами сидя в кают-компании, за столом, покрытым белоснежным столовым бельем, перед серебряным столовым прибором и хрустальным бокалом или на брезенте зачехленного орудия, чьими снарядами поджарые офицеры флота Ее Величества обещали седоголовому русскому атташе вернуть прошлое, а ему — жену с узлом русых волос, тонким затылком и у висков оттенком ботичеллиевой бледности, коричневой бледности, вот, собственно, все, что он помнил о ней, что хотел вернуть, что мог, — наперед он знал: остальное невозвратимо, знал также определенно, как не знал другое: должен ли он, пусть против воли, участвовать в обреченной попытке вернуть прошлое или нет; разведчик, сведущий в тончайших нюансах и изворотах политики, а, значит, и самой истории, он, как бы оценивая шансы на победу в поединке, последовательно взвесил неизбежность хаоса, братоубийственной распри, интервенции, сквозь легкий дымок японской папиросы вглядываясь серо-стальными глазами в забрезжившую дымку неотвратимого берега — взвесил и, раз навсегда определив степень своего участия, спокойно сошел на пристань в А., в зиму, как бы материализованную памятью: как бы памятью выстлана была поземка у крыльца комендатуры, сотканы тик и плюш гостиницы, чернильный прибор, рисунок изморози на оконном стекле, зал ресторана, где в папиросном дыму громогласно наслаждались и свергались химерические правительства и утверждались утопические планы; память — к ней он обращался всякий раз, твердым почерком надписывая один и тот же адрес на письмах, неделя за неделей остававшихся без ответа, как в вечности растворявшихся в морозной синеве; к ней он обратился, когда на бирже купил у проходимца четыре

фальшивых паспорта и вышел из гостиницы с одним-единственным саквояжем в красной от мороза руке, а потом просидел пять суток у вагонного окна, из-под полей широкополой шляпы с широкой лентой глядя, как на пути на запад зима стремительно превращается в весну; но у С., где он спрыгнул с поезда, чтобы избежать проверки документов, она напомнила осень — те же красные овраги, та же палая листва, запрудившая ручей, тот же мираж, подсказанный памятью — памятью — в С., квартирантом сгорбленной, нелюдимой старухи он внезапно понял это — ставшей его врагом, мучительницей: с правдоподобием несбыточной, немыслимо желанной грезы память являла ему былые дни, два взаимоисключающих, одинаково манящих видения: зал в К., татами, неяркий внешний свет и ярчайший внутренний, в озарении которого, в асбсолютном слиянии духа и сил он одерживал легендарные победы и чудесный белый флер гардины, нежный волнующий профиль жены, ее точеный силуэт, тенью скользящий перед его воображением, между тем, как письма оставались без ответа, между тем, как день за днем, час за часом неумолимо свершалось то, что он провидел, рассмотрел в призрачной дымке, застилавшей родные берега; невозмутимый, почти равнодушный к слякоти и грязи, к кровопролитию за мутными оконцами старухиного дома, к молитвам, выкрикиваемым ею из погреба во время канонады, когда сам он с револьвером в руке вжимался в простенок и смотрел, как с потолка хлопьями сыплется штукатурка при каждом взрыве, каждом попадании — в дом напротив, в церквушку, в соседские сараи, только не в беленую мазанку под рыжей соломой, словно стихийная сила, крушившая все кругом, была с ним в сговоре, на им обоим ведомом условии не трогала его, не посягала на него, как треск винтовочных выстрелов у щербленной стены, оставшейся от здания вокзала, где люди в солдатских шинелях расстреливали людей в офицерских, а потом — наоборот, где сам он был на волосок от того, чтобы быть расстрелянным и теми и другими и, вместе с тем, великолепно защищен от этого, потому что, как монах, был не нужен ни тем, ни другим, как мертвец, не опасен; на этот раз без саквояжа — единственная пара нательного белья была на нем, при нем — письма жены в миссию, револьвер и документы — он ехал в Х., в переполненной теплушке, с людьми, не желавшими ни воевать, ни умирать и готовыми хоть на край света бежать от тифа и стрельбы, и другими, готовыми отдать жизнь за прошлое, от которого он отрекся: переодетый, как и он, офицер, что и он, участник далекой и короткой войны, узнал его — он убедил офицера, что тот обознался, откланявшись ему с холодной

учтивостью, на какую употребил всю свою выдержку, потому что впервые за столько лет мог узнать что-нибудь о жене, но при этом погибнуть: к тому времени он верил, знал: сила, которая доныне оберегала его с той же неукоснительностью, с какой не щадила других, не пощадит и его, если он сделает один неосторожный жест, скажет одно необдуманное слово — таков был уговор, мысленно подписанный им еще на английском эсминце; в Х. он снял комнату, решительно ни чем не отличавшуюся от комнаты в С., на ничем не примечательной окраине, но облик города был иным, чем в С.: здесь спешили жить, здесь театры давали представления, здесь по бульварам дифелировали дамы, здесь заключали сделки, здесь прилизанный конферансье пел куплеты в кафе-шантане, и вскоре неподалеку от набережной появилась вывеска «ЯПОНСКАЯ БОРЬБА ОБУЧЕНИЕ ЕЕ ОФИЦЕРОВ И МОЛОДЕЖИ», а сам он стоял, сложив руки на груди, в кимоно, сшитом по его указаниям евреем-портным, перед набитыми соломой тюфяками, в зале, бывшем карикатурой на зал Янзоборо, на мир его памяти — все здесь было карикатурой: пыхтящие ученики, их возня на тюфяках (вопреки его стараниям преподать им основы мастерства, а их возне придать видимость ученичества), но вот сам он был настоящий, в этом ни у кого не возникало сомнений, ибо одного взгляда на него было довольно, чтобы понять, что этот человек — без прошлого, как иноземный фокусник, как владелец кафе-шантана, чье прошлое с одинаковым успехом могло быть прошлым повара и прошлым палача; он представлялся им некоей разновидностью гувернера, чем-то сродни крупье, учителю фехтования и верховой езды, но даже это качество было условным в том мирке — недолговечном, эфемерном, потрясаемом сводками с фронта — условным, потому что непроницаем и тверд оставался его взгляд, потому что люди, переступавшие порог бывшей парикмахерской, сами того не ведая, тщились приобщиться не к искусству боя без оружия, а к самой тайне, к непостижимому, как волшебство, и потому бесценному секрету спокойствия этого человека, с равнодушием тигра наблюдавшего за ними из-под тяжелых век, не зная и не подозревая, что в такие минуты в душу его проникают проблески света, не однажды виденного им в поединках в К., не догадываясь, что он, как и прежде, холит и изнуряет свое тело, будто в предверии поединка, который не только не мог состояться, но который невозможно было представить в Х., запруженном отступавшими войсками, и что оттуда берется кошачья мягкость его шага, апокалипсическое спокойствие в его глазах, не понимая, что заставляет их предлагать ему свои услуги и свои автомобили для отступления на полуостров; и он не отступил; как прежде, в

С., он выждал, пока они сдадут город, пока смолкнут орудийные залпы и уличная стрельба; на пятый день прийдя на набережную, он увидал следы сапог на своей вывеске, валявшейся среди стреляных гильз и битого стекла, и, глядя как на подводах развозят убитых, он понял, что пройдет еще немало дней прежде, чем, замазав краской «ГГ ОФИЦЕРОВ», он сможет водворить вывеску на место, и в этом будет хоть какой-то смысл, и что его настоящий враг не память, а время — время, продержавшее его год в А., два — в С., два — в Х., принудившее его ценой невмешательства купить жизнь и эту минуту на разрушенной, разграбленной улице, это оно делало все кругом неузнаваемым, чужим, а значит и враждебным; и, стоя над истоптанной вывеской, совсем как пять лет назад, глядя в камин, в котором пламя пожирало плоды его девятилетнего труда, он понял, что вновь поставлен перед выбором, что мирные вечера, белый флер, нежный профиль можно вернуть ценой компромисса, ценой того, что он предложит победителям то, чего не предложил побежденным — военный опыт и знание чужой страны; и также, как на английском эсминце, приняв решение, он поехал в М. в товарном вагоне, на крыше и в угольных ящиках которого ютились люди, и который той же ночью был остановлен бандитами в степи, точно безымянной и беспощадной силе вздумалось нарушить их многолетний, неукоснительно соблюдаемый обоими договор, и в свою очередь нарушив его, он среди общей паники и беспорядочной стрельбы убил обыскивавшего его бандита в свитке и лохматой шапке, отполз от насыпи и пошел по степи, ориентируясь по звездам на северо-запад, совсем как четыре года назад — на юг, дивясь тому, что все уже было, было; но в М., неузнаваемой М., столице нового времени, чью враждебность он в те дни был готов расценить, как равнодушие, если не дружелюбие, он скорее почувствовал, чем понял, что его непредсказуемая родина еще не вполне представляет, как именно будет жить, и быть может ему не придется отрекаться от прошлого — от себя, в прошлом сидящего на брезенте зачехленной орудийной башни, и ничто не заставит его раскаиваться в прошлых победах и в прошлых наградах, и никто не дерзнет унизить его гордость, такую глубинную, что даже формальный отчет в принятых решениях, в поступках совершенных или несовершенных был бы для него унижением, и новая вывеска «ЯПОНСКАЯ БОРЬБА ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» избавит его от извозчицких рукавиц, сапожничьих ножа и дратвы, куртки кельнера, камня точильщика, лотка разносчика, позволит ему перенести из эпохи в эпоху зал в К. и свое боевое искусство — здесь, в М., не знавшей о пути познания даже понаслышке, он с

полным правом считал его своим; и словно в подтверждение обуревавшим его предчувствиям он получил письмо от жены; и в этот день он бродил по городу, омытому недавним ливнем, как гимназист, как очарованный влюбленный, потому что долгожданной явью стал сон прошлого; и в этом сбывшемся сне он встретил жену на грязном перроне и стоял, обняв ее за плечи, пока перрон не опустел, а потом повел ее, осторожно обходя с нею черные лужи с отраженным в них серым небом, бережно, но крепко придерживая ее за локоть, боясь, что она исчезнет как видение; и вновь обратясь к прошлому, он набил соломой и утоптал новые тюфяки, с помощью жены написал новую вывеску и подыскал подходящий зал — помещение бывшей аптеки — и теперь все было готово, чтобы вернуть ему прежний мир, где истина заключена была в иероглифе, где беседы с учителем о природе цветка и огня, ветра и камня, о когтях зверя, клюве птицы и взгляде змеи открывали природу борьбы, и это родство с материей мира было лишь вехой на пути познания, на пути к внутреннему свету, который он узнал; все было готово; и только тогда, из вечера в вечер глядя через пространство татами на входную дверь, он с запозданием понял, что снова все зависит не от него, а от времени: от смущавшихся молодых рабочих, от напомаженных франтов с холеными ногтями, от темных негодяев со следами ночных похождений на лицах (его не занимало, ради чего они приходят — ради уверенности в себе, физической силы, приемов боя, способных вооружить бандита безоружного лучше вооруженного в тускло подсвеченном фонарями мирке ко всему равнодушных подворотен); время продолжало оставаться врагом, ибо — теперь он осознал и это — годы, если не десятилетия, пройдут прежде, чем он сумеет научить немногих своему мышлению и языку и повести их путем познания; и все же он надеялся; все же каждый вечер стоял, скрестив руки на груди, вглядываясь в дверной проем и выжидая, кого еще судьба приведет к нему; и однажды морозным вечером в зал вошли двое мужчин и предложили ему пройти к черным глянцем отливавшему автомобилю, а затем по заставленным скамьями коридорам провели его к обитой дерматином двери — и в кабинете с письменным столом, кожаным диваном и сейфом, в овале света от настольной лампы он увидел точно из праха и темени времен исторгнутое «Личное дело капитана Верзина», и человек, чьи пальцы сцеплены были поверх вылинявших на папке завитушек канцеляриста, предложил ему сесть, а сам поднялся и, прохаживаясь из угла в угол, языком военного изложил ему свое дело, звучавшее скорее как ультиматум, нежели просьба, а потом отпер сейф и, очистив стол от бумаг, разложил на нем целую

коллекцию оружия, изъятого у преступников, а рядом бросил пачку фотографий — на первой был молодой сотрудник, заколотый ножом; а он, Верзин, смотрел на снимок словно с другого конца вечности, в пересчете на которую все, что он услышал здесь, все, что увидел, было не более, чем буквой в летописи человечества, а человек перед ним — персонификацией времени, нуждавшемся в нем точно также, как столетие назад — в безвестном докторе, вооружившим своим дзю-до японскую полицию; и также как доктор, видя в сложившейся коллизии руку самой судьбы, не цель, но способ легализации своего боевого искусства вопреки иным, чьи робкие ростки он не только провидел, но и замечал, бродя по толкучему рынку и в хламе букинистов находя брошюры со сводами приемов у-шу, джиу-джитсу, тхэквондо, он дал согласие; и наутро из черного автомобиля просматривал стремительно, как в кинематографе, менявшиеся картины зимнего города, высматривая фасад подходящего особняка или усадьбы, и найдя его — гордое уединение, нагие дерева — был поражен, узнав, что под школу может получить только флигель, потому что в самом здании разместился детский дом, поражен, потому что аскетизм, сиротство, одиночество отождествлялось в его сознании с природой борьбы, боя; он отдал сопровождающему его свое кимоно и за два дня пошитьт были из армейского сукна четырнадцать таких же; в них предстали перед ним в непротопленном зале четырнадцать мужчин возрастом от двадцати ло сорока — но ничего не значил возраст, все они были равны друг перед другом, потому что одинаково рисковали жизнью, потому что судьба каждого могла стать сюжетом для баллады, потому что их глаза видели все — и страх, и смерть — а теперь смотрели ему в лицо с недоверием и негодованием, ибо каждый с первого взгляда распознал в нем человека с чужим, если не враждебным прошлым; и склоняя их к повиновению, он заставил их снова и снова повторять поклон залу, ритуал приветствия наставника и взаимного приветствия, а на следующий день в кабинете за дерматиновой дверью выслушал новый ультиматум: ему надлежит обучать этих людей самому необходимому для задержания преступников — и только; и с презрительным молчанием — молчанием человека, которому отказано в выборе, он выслушал, чего хочет от него время — выслушал и вернулся в зал, и три последующих года присматривался к ним, обучая отдельным ударам, отдельным захватам, отдельным броскам, что было равносильно обучению фортепьянным пассажам без прояснения гармонии в целом; но он не мстил; он делал то, что требовали, не принижая свое боевое

искусство, не навязывая его, не расставаясь с надеждой, что кто-нибудь из них, неважно который, догадается, почувствует, что за отдельными приемами стоит целый мир, необозримый как само человеческое прошлое, как дольние снега у подножья великой вершины; он знал этот путь; и если бы кто-нибудь спросил, кто-нибудь задержался в зале, как под тем или иным предлогом задерживался он сам, он повел бы этим путем одного, даже одного; не зная и не подозревая, что вот уже полгода они сами всякий раз ожидают, пока он уйдет, пока вдалеке прогромыхает конка, чтобы самим изучать приемы, названные им «защитой», сочетавшие два качества — доступность и простоту, что и требовалось им для выполнения служебных заданий, дабы избежать риска там, где неверное движение могло стоить жизни — в той реальной жизни, которой они жили, которой жила страна, которой он противопоставил подобие прошлого; и он узнал об этом, не случайно, хотя вполне мог забыть шляпу или трость и вернуться за ней; как-то раз, проводя занятие, он внезапно увидел, что они делают то, чему он не только не учил их — чему никогда не дал бы себе труда, таким примитивным, возмутительно нелепым показалось ему то, что он увидел, но смятения не было — факт предстал перед ним, как долго ускользавшая самоочевидность, как закономерное подтверждение тому, о чем он подсознательно догадывался давным-давно; и не подавая вида, он стал наблюдать за ними, неделя за неделей понимая, что есть некто, обучающий их в тайне от него, нашедший с ними общий язык, общую цель раньше него, и зная, что рано или поздно человек этот придет, появится; и ничего кроме странного недоброго удовлетворения не испытав, когда порог его зала переступил мужчина с орденом на гимнастерке и пороховым ожогом на щеке (с одного взгляда ему стало ясно, что этот человек — человек своего времени, что день за днем, шаг за шагом, человек этот прошел все пути, которых сам он избежал, встретил все, от чего сам он уклонился), он распустил учеников и запер зал, потом сел к нему спиной в углу татами; раздвинув колени и положив на них кулаки, он ждал; и понемногу померк скупой электрический свет, и из глубин памяти раздалось протяжное пение сродни крику муэдзина на заре, песне дервиша, и ковер между его коленями стал темным колодцем, на дне которого, на удаленной темной воде плавало пятнышко света — считая удары сердца, он всматривался в него, пока оно не приблизилось, пока, последовательно расширяясь, не заполнило все кругом, не запылало нестерпимо ярко, а тогда он, наконец, услышал тончайший звон, с каким разбивается хрусталь или раскалывается лед, и поднялся, и будто дирижируя этим

перезвоном, ладонями вверх развел руки и бесшумно, как тигр, заскользил вокруг своего врага, в перемещении подчиняясь этой рваной, ускользающей от внутреннего слуха мелодии, и чем тоньше, пронзительней становилась она, тем ослепительней, безжалостней сокращалась точка, белым огнем горевшая в его сознании, и теперь глаза его жили отдельно, тело само распоряжалось собой, потому что он освободил его для борьбы, для боя без правил — ведь противник не соблюдал правил, не потому, что не знал или не мог соблюдать правил, а оттого, что в повседневности, в которой он служил матросом, кавалеристом, сыщиком, они были иные, у каждого — свои; и потому в этом бою не надо было себя останавливать, подчиняться себе, как прежде в К. он подчинялся наставникам, вольным приостановить и даже прекратить поединок; теперь и поединок был иным, долгим как сама жизнь и столь же скоротечным, и он освободил тело, предоставив ему делать все, что оно помнило, знало, дав каждому мускулу, каждому хрящу разрядиться от дремавшей в них первобытной энергии, просыпавшейся лишь в минуты смертельной опасности и тогда неукротимой как сама человеческая воля, дав им стать мускулами и хрящами зверя, которого разум смирял в нем от рождения и впредь будет смирять до смертного часа; но сейчас разум парил вне его, обращаясь к нему только когда горло противника было намертво схваченным в перекрестье рук — и он распускал хватку, чтобы дать тому дышать, сопротивляться; когда противник был повержен, подмят, чтобы дать ему возможность подняться; и так до тех пор, пока тот хотел этого, пока мог; а потом, когда все было кончено, когда погасла сверкающая точка, когда хрустальная мелодия ушла, он мягко прошелся по ковру, и все еще ходили ходуном его бока, все еще клокотало в груди, когда он убедился, что противник не может подняться; и тогда, не проронив ни слова, он прошел в боковую кафелем облицованную комнату, распоясал и снял с себя кимоно, облился из ведра, как делал это всегда после конца занятий, затем облачился в костюм-тройку, пристегнул целлулоидный воротничок — даже в мелочах он оставался верен прошлому — и вышел на осенний ветер, оставив настежь открытой дверь, не забыв запереть, а бросив, зная, что уже никогда не вернется сюда, зная цену своей победе: если прежде он был здесь чужим, отныне он стал чужим вдвойне, ибо, как ни странно, поражение сроднило бы его со временем, смирило бы, поставило бы в один ряд с другими людьми, среди которых он жил, не пытаясь ужиться, тогда как победа сделала его вдвойне непреклонным, вдвойне одиноким; он сложил с себя обязанности инструктора; и минуло несколько недель прежде, чем,

прогуливаясь с женой по бульвару — в ту осень его жена была красива неброской, благородной, последней красотой — он подумал, что потерпел поражение в ином поединке, что скоро не сможет представлять свое боевое искусство, что оно умрет вместе с ним, потому что оно — в прошлом, и он сам не дал ему будущего; и снова потеряв покой, он стал отправляться на прогулки в одиночестве, и бредя по аллеям, припорошенным первым снегом, снова и снова обращаться к прошлому, всматриваться в прошлое, как некогда в полосу сизого тумана у входа в залив, стараясь понять, в чем он ошибся, разглядеть то, чего не заметил, мимо чего прошел; пока, наконец, не увидал призрак усадьбы, но не флигель и не зал, где потерпел поражение, а парадное крыльцо и стремглав мчавшихся к нему ребятишек; и вызвав в памяти это видение, он присел на скамейку и закурил от волнения, а потом поспешил домой, потому что с этой минуты каждый день, каждый час имели значение: с этой минуты поединок шел на дни и на часы — именно так, как боролось с ним время — и для последней схватки он получил на стадионе просторный и чистый зал и начал с того, с чего следовало начать, по меньшей мере, три года назад, и примирился с мыслью, что пройдут еще семь лет, пока подростки, которых он взял в ученики, вырастут, возмужают и пойдут указанным им путем познания; он, не имевший собственных детей, чувствовал себя их отцом, внешне сохраняя беспристрастную суровость; с ними он мог говорить понятиями, какими не стал бы говорить со взрослыми — такими чужеродными, абстрактными были они вне зала, в действительности, какую он не знал и не хотел замечать; тем яростней было его недоумение, тем пронзительней отчаяние, когда в руки ему попала брошюра со сводом приемов «защиты», сперва одна, потом вторая и третья — самоочевидные знамения времени, как парады физкультурников на площадях, как бело-голубое знамя спортивного союза, которое атлет нес впереди шеренг; и если бы он умел просить, если б ему даровано было умение просить, как могло быть даровано умение ладить с людьми и временем, он попросил бы время об отсрочке: один-единственный раз подождать, пока кому-нибудь из его мальчиков сравняется двадцать, пока кто-нибудь из них постигнет мастерство настолько, что сумеет отстоять его боевое искусство, как сумел бы он сам; но он знал: время не станет ждать, оно отомстит ему за то, что столько лет он был ему врагом и за столько лет оно его не одолело; и ни страха, ни горечи, а лишь одно облегчение от поражения, избавления от многолетнего бремени испытал он, прочитав в газете, что борцы — не его

школы — демонстрировали маршалу возможности борьбы — не его борьбы; а потом, одну за другой, закрыли секции джиу-джитсу, американской вольной и его собственную, и снова он не ощутил ни страха, ни горечи, потому что к тому времени утратил счет дням и часам; теперь счет велся по-другому и сам поединок: на то, какие поражения он сможет выдержать, против чего устоять; и о времени он думал теперь по-другому, и хотя ни разу не пытался облечь свою мысль в слова, прозвучали б они так, если б ему пришлось высказаться: мужчина мстит раз, а время — бессчетно, без конца, время — тоже женского рода, как судьба или память; и в тот последний год вынужденного безделья, унизительного бездействия, на которое его обрекло последнее поражение, он полной мерой стал жить памятью: настоящее и прошлое слились для него в некоей созерцательной прострации, где картины минувшего, как в калейдоскопе, складывались в новые узоры причудливых и далеких воспоминаний: и он не заметил, как полюбил ночь — сумерки, а потом и ночь, саму стихию ночи, темноты, одинаково приветливой, неизменно безмолвной: все приметы времени растворялись в ней, ночь скрадывала реальность и сама была реальностью, и он возлюбил ночь любовью печали — зрелой любовью, чуждой тревоги и опасений; и глядя, как в окнах дома напротив свет горит ночи напролет, он только улыбался своим мыслям, как улыбается пожилой, поживший на своем веку человек, знающий, что жизнь — не более, чем череда утрат, и самой долгой жизни не хватит, чтобы научится жить иначе; и в ночь, когда сбылись предчувствия жены, когда в полночь в передней раздался бесцеремонный звонок, и из окна он увидал черный фургон у черной подворотни, он велел жене открыть, сам заперся в ванной, и с любопытством прислушиваясь к доносившимся из коридора голосам, достал из-под ванны завернутый в промасленную тряпку револьвер, который столько лет возил с собою из города в город, сел на обод ванны, вставил дуло в рот, и глядя на шашечный кафель пола, стал ждать, пока он исчезнет, и между коленей покажется колодец с темной и далекой водой и дрожащей на поверхности точкой света, и он сможет тронуться в путь.

Коридор

I

Быть может, в недалеком будущем всех в самом деле расселят в изолированные квартиры, но Феликс говорит, что ему торопиться некуда — он, мол, сто раз выкрутил бы себе изолированную, если б захотел, и это, похоже, правда, как и все, что он говорит, даже если хватил лишнего. Второй такой, как его теперешняя, ему, конечно же, не найти — в министерских домах не спускают глаз с соседей, каждый суется не в свои дела, а где еще найдешь квартиру, где тебе фактически принадлежат четыре комнаты, причем, раздельные; властям, пожалуй, пришлось бы всучить ему ордер с милицией и понятыми, а еще верней, что в последнюю минуту он выменял бы себе еще худшую дыру где-нибудь в Столешниковом переулке, где потолки осыпались, разбиты дверные косяки, где в свободные комнаты вносят коляски, корыта, лыжи и прочий хлам, и тотчас прибрал бы к рукам полквартиры, приплатив жильцам, чтобы не открывали рты, и тогда его гости курили бы на общей кухне или у входной двери с десятком звонков на панели, и сам черт не разобрал бы, кто приехал, а кто уехал. А пока, если негде убить вечер, можно зайти к нему на Малую Грузинскую и, если его нет, поболтать с его женой Наташей в ожидании, пока он заявится, но обычно он дома — он хороший отец и, трезвый или пьяный, предпочитает возвращаться до темноты. Ну, а когда он возвращается, услышишь, если и не захочешь: внизу, во дворе, в промозглых сумерках глохнет мотор, бахают дверцы и Феликс командует таксисту, чтобы тот отпер багажник голосом, который слышно на пятном этаже, и через минуту-другую появляется в дверях — огромный, белозубый, нагруженный свертками по подбородок, а позади приезжий армянин тащит ящик с соками Феликсовым детишкам. Если армян несколько, забавно смотреть, как они разбирают Феликсовы шлепанцы сорок шестого размера, суетясь вокруг Феликса, заполнившего собой прихожую; тут же вертится сынишка Феликса и дочь жены, говорят по-русски и по-армянски, половины не поймешь, зато знаешь, что это единственный дом, где тебе сразу нальют полстакана конька и спросят, как она, жизнь — единственный и, скорей всего последний. Вот именно. Феликсу лет под сорок, хотя по нем этого не скажешь, и похоже, он невысокого мнения обо всех нас, о Москве и москвичах, хотя по нем не скажешь и этого. Поначалу трудно было понять, чего он хочет, когда велит жене запечь в духовке рыночную свинину, которую режет сам, а сам, хочешь ты или нет, несет из комнаты, где нечто, вроде склада, немецкое пиво в жестянках, коньяк —

бутылочный или отлитый из канистры — аперитив или яичный ликер, бразильские орешки или фисташки из Израиля с ценниками с Драгомиловской, все, за чем едут к нему из Еревана, Киева, Калининграда и Новосибирска, и только тогда садится против тебя на табурете, здоровенный, в майке «Адидас», полистеровых брюках и шлепанцах на босу ногу, и, усмехаясь, смотрит, как ты пьешь, или лениво поглядывает в сторону жены из-под полуприкрытых ресниц, а то вдруг шлепнет ее по заду, чтобы ворочалась побыстрее. Похоже, он не хуже нас знает, как отзываются о нем наши жены в наших домах — все эти пересуды десятилетней давности, что его деньги — грязные и сам он — грязный рыночный армянин, и что его не пускали бы на порог, если бы не бедняжка Наташа. Быть может, поэтому ему доставляет такое удовольствие задаривать тебя перед уходом, пришел ли ты на час или на минуту, по делу или без, чтобы твоя жена знала, что ты — от Феликса. Не было случая, чтобы кто-то из нас убрался от него с пустыми руками, кто бы не испытал минуту вовсе не свойственной нам непонятной стесненности от Феликсовой тяжеловесной щедрости, сколько не отнекивайся; мы берем, хотя эта баночная ветчина у нас на столах не переводится, мы не бедны, мы вовсе не бедны. Трудно сказать, что он думает при этом. Может быть, он одаривает нас также спокойно, привычно и естественно, как звонит из своей обшарпанной передней в «Космос» или «Битцу», или в загородный мотель, чтобы устроить на ночлег своих приезжих приятелей, записывает номера телефонов на обоях, ставит жестянку с окурками на соседкину плиту или говорит, что пора выпить за его погибших друзей. Что за друзья и отчего они погибли, мы можем только догадываться, как и насчет того, чем Феликс занимается на самом деле или почему его соседка никогда не выходит в общий коридор в эти вечерние часы. Вообще он любит слушать, шумно дыша и поглаживая по голове сынишку, а если речь о делах, тотчас отсылает его в гостиную, а с ним и дочку жены; в гостиной видеомагнитофон, стенки с книгами, велюровые кресла, бра, ковры — но Феликс предпочитает кухню. О своем прошлом он не распространяется, усвоив, что в Москве нельзя поверять некоторые вещи посторонним.

Одно время мы были уверены, что он ищет знакомств, как каждый провинциал-южанин, пока не выяснилось, что его возможности значительно превосходят наши, и тогда мы сошлись на том, что ему нужно, чтобы жена не потеряла компанию и его дети водились с приличными детьми, вообще чтобы все было прилично. Говорит Феликс почти без акцента, только по его

приятелям, да по тому, что Наташа не садится за общий стол без спроса, знаешь, что он — армянин. Одевается он шикарно. В кабаках больше молчит, щурится, пьет не пьянея и курит почти беспрерывно, выложив перед собой на стол собственную пачку «Данхилла», поневоле задумаешься, что у женщин он пользовался бы бешеным успехом, если бы захотел, и просто не знает себе цену — или, наоборот, слишком ценит себя, чтобы изменять жене. Пьет он действительно много, пьет часто, в последнее время пьет его жена, излюбленная тема наших жен: кто из них сопьется первым. Конечно, они прекрасно знают, что не сопьются ни он, ни она, он — раз не спился до сих пор, она — вернее всего, потому, что побоится. В последнее время она, как правило, навеселе к середине дня, ездит по гостям, и, как ни странно, зачастила в церковь, но все равно всем ясно, что с Феликсом ей повезло, даже если она не говорит об этом. Все знают, что он содержит ее родню и, если поколачивает ее, тут же дарит ангорскую кофту или норковый жакет, в котором она щеголяет следующую неделю. О Феликсе мы знаем больше от нее — что он, к примеру, окончил авиационный институт и до сих пор читает научные журналы; жены — давнишние ее подруги — вспоминают, что когда она была в первом браке, они были бедны, как церковные мыши, и на Наташке не было лица, пока не появился Феликс и не спустил ее мужа с лестницы; потом, он, кажется, дал мужу денег, чтобы тот не появлялся вообще и записал девочку, как дочь — какая, в конце концов разница, если он мог себе это позволить? В конце концов, это дело Феликса. Это не наше дело, потому что Феликс платит всегда и за всех, кто у кого бы не собрался, платит привычно, полупрезрительно, не позволяя платить нам, кажется, все мы за тем и собрались, даже норовит заплатить таксисту, когда идет провожать тебя до стоянки у Тишинского рынка — в тех же полистеровых брюках, в валяющихся у вешалки для таких случаев сапогах морского пехотинца, оставшихся у него с армейской службы, в канадской, подбитой мехом куртке, расстегнутой на разгоряченной груди, даже если кругом снег — с непокрытой головой, руками, спрятанными глубоко в карманы, стоит и смотрит, как отъезжает машина. Днями он заимеет свою, он берет кооперативный магазин. Уже два года, как никто из жен не говорит, что он опасен и с ним страшно иметь дело.

II

Наташа, кажется, несостоявшаяся актриса, без косметики, после ночной попойки выглядит на полных тридцать семь лет, другое дело, когда она при параде: у нее русые волосы с отливом, то уложенные тяжелым узлом в стиле старой русской аристократии, то экстравагантно взбитые, макияж броский — розовые тени, алый рот, при ее бижутерии и бриллиантах, прямой спине, точеной шее никогда не подумаешь, что у нее двое детей. Одно время, когда у нее завелись деньги, она усиленно следила за собой, пока до нее не дошло, что в кругу денежных людей не разводятся даже с неряхами; прежде она искала кремы, косметичек, зал для аэробики, абонементы в бассейн для себя и детей, теперь все больше говорит о точечном массаже, медных браслетах, головных болях, ну, и, конечно, о том, где они были с Феликсом — о шведской и корейской кухне, о Пицунде и Дагомысе. Когда она приезжает в гости, навеселе, в середине тусклого, невралгического дня, заранее чувствуя себя виноватой, дарит подарки детям, забывает вещи в такси, по-прежнему берет по пять-шесть кофт, когда идет распродажа на чьей-нибудь квартире, особое внимание уделяет нижнему белью, которое так будоражит Феликса — он прямо как мальчишка, дорывается до нее, где ни попадя, лишь бы рядом не было детей. О соседке она помалкивает, но никому не составляет труда сопоставить детали трехлетней давности, благо, обо всем этом она говорила раньше: то, что соседка одинока, мелкая служащая и одно время была без ума от Феликса, и после обыска в их квартире не покидает комнаты. Лучше молчать о том, как оно было, тем более что сочувствия ждать неоткуда, подробности отпугнут подруг или дадут новый повод пересудам, безвоздушное пространство образуется вокруг нее еще раз, а снова быть парией у нее нет сил. Три года назад к ним в самом деле пришли из ОБХСС, и, пока длился обыск, она сидела у погашенного телевизора, прижав к себе детей, полумертвая от ужаса; Феликс зашел в гостиную только раз за своими документами; наконец, она услышала, как мужчины выходят из квартиры. Феликс вышел с ними на лестницу. Он вернулся через минуту. «Обошлось, — шепнул он ей, обдав ее щеку горячим дыханием, — надо же, я, как знал, не взял ни ящика на этой неделе!». Он стоял в полутемной прихожей, прижав ее к груди и переводя дух. Потом легонько отстранил ее и подошел к соседкиной двери со стремительностью, всегда поражавшей в этом огромном теле. Секунду помедлив, он пнул дверь каблуком так, что застонала

филенка. «Еще раз выйдешь в коридор, я тебе шею сверну, сука! — прорычал он». Всегда можно походя пнуть ногой дверь; случайно погасить свет в ванной; сорвать щеколду в туалете, чтобы не запиралась дверь; махнуть рукой, чтобы кастрюли попадали с плиты. По дыханию и шорохам она знала, когда Татьяна ждет, чтобы выйти из квартиры с утра, пока Феликс еще в постели, как и когда она возвращалась, понять было нельзя; месяц спустя стало ясно, что она готовит в своей комнате, пять месяцев спустя Наташа услыхала из-за соседкиной двери негромкий вой, как по умершей. Феликса не было дома, и она решилась постучать в соседкину дверь. «Таня, Таня, — негромко позвала она, — что с тобой? Ну, не молчи ты ради Бога!» Дверь тихо отворилась в тишине коридора — в щель она увидела соседкин халат, руку, стиснувшую полы у груди, лицо, залитое слезами. «Поговори с ним, Наташенька, — послышался быстрый шепот, — Скажи, что со мной нельзя так обращаться, я же человек, как же он может!» — «Поговорю. Обещаю тебе. — Она тоже понизила голос до шепота. — Да успокойся ты, все обойдется! Можно мне войти к тебе?» — «Нет» — Дверь затворилась также тихо, оставив ее в коридоре. Она не находила себе места, пока не пришел Феликс, против обыкновения, один; став в дверях спальни, смотрела, как он читает вечернюю газету, изо всех сил стараясь быть спокойной.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказала она как можно сдержанней.

Он посмотрел на нее поверх газеты, пристально, испытующе, потом отложил ее на ночной столик, на котором мирно лила свет громоздкая лампа, украшенная искусственными цветами.

— Сдается мне, я знаю, о чем ты, — сказал он негромко, без выражения. — Ты не забыла, перед женитьбой мы условились: ты не задаешь мне вопросы — что я делаю, почему, как?

— Нет, я помню, — откликнулась она. — Но я — твоя жена. У нас сын. Один-единственный раз я имею право поговорить с тобой.

— Хорошо, пусть, — сказал он. — Если ты не можешь без этого. Один раз. Я слушаю.

— Зачем ты преследуешь Татьяну? Чего ты добиваешься?

— От тебя — чтобы ты на минуту распростилась со своей непроходимой глупостью, — сказал он. — Помнишь обыск? Случайность, что я не загремел, а приди они днем раньше, мне влепили бы, в лучшем случае, лет восемь. Конфисковали бы все, включая твои погремушки, и твои милые друзья, вся эта шатия с Аэропорта, не дали бы тебе ни рубля, даже если ты бы пошла по ним с протянутой рукой. Дерьмо. Я знаю им цену. Ладно, не про

них сейчас речь. Твоя Татьяна квасится в четырех стенах, чтобы не видеть то, что ей не полагается видеть. Может, ты снова хочешь, чтобы я пригласил ее за общий стол, как это было в начале? Тогда поступи проще — позвони куда надо и скажи сама, что мне поставляют жратву и сигареты валютный магазин и четыре кабака, а я контролирую вывоз на Юг и на Юго-восток. Телефон я тебе дам. Зачем нам ждать, пока она это сделает?

— Ты хочешь сказать, ты уверен, что на тебя донесла именно она?

— Уверен, — сказал он. — Видишь ли, я узнал об этом, что называется, из первых рук.

— От одного из этих людей, — прошептала она, чувствуя слабость в ногах.

— Да, — сказал он. — За четыреста, тогда же.

— Ужасно, — прошептала она.

— Может быть. Предвидеть, что я до всего докопаюсь, она, сама понимаешь, не могла.

— Зачем, по-твоему, она это сделала?

— Вот именно, зачем. Ты абсолютно уверена, что хочешь услышать это?

— Теперь не знаю. Наверное, хочу. Я боюсь, Феликс. Ну, говорили, раз уж начал.

— Тебе бы бояться раньше, — сказал он. В огромном, овальном зеркале на стене, забранным в фигурную бронзовую раму, она видела покрывало постели, золотистый велюр кресла и профиль мужа — блестящие черные волосы, упавшие на лоб, брови, сведенные к переносице, твердый рот. Она взглянула на него. — Вот именно, — сказал он, — я об этом. Ты знаешь, я говорю правду. Ты попросила сама. Она не при мужике, а баба она видная. Была видная. Я ничего не жалел для нее, помнишь, думал, все обойдется, но, как видишь, не обошлось. Обычная история. Хотела заиметь себе мужа. Теперь ты в курсе.

— И сколько же ей там сидеть одной?

— Пока я не сменю занятие. Это не самое худшее. Вспомни, куда она чуть не засадила меня. А как ты думаешь, каково ей выйти?

— Феликс, это невыносимо! Я не могу каждую минуту знать, что она доходит в своей комнате!

— Говорят тебе, это решено. Она сама виновата. Пойми, не может стать ничего так, как было!

— Ты можешь простить ее? Ради меня. Заклинаю тебя. Хочешь, на колени перед тобой встану!

— Нет, ты все-таки дура, — сказал он медленно, и по тому, как побелели у него ноздри, она поняла, что он свирепеет. Она

знала, что когда он говорит таким тоном, перечить ему нельзя. — Вы все на один лад, что мужчины, что женщины, прямо не разберешь — пакостите, потом просите прощенья, снова пакостите, и никак не возьмете в толк, что есть вещи, которых не прощают!

— Феликс, мне было бы легче, если бы ты взял ее в любовницы.

— Так я и знал, — сказал он. Он смерил ее глазами. — Ладно, поговорили и хватит. Иди уложи детей.

Вот и все, и всегда можно поехать к подругам, той или другой, когда дочь уйдет в школу и отведешь Сурена в детский сад, или упросить Феликса пообедать в рыбном ресторане, в «Белграде» или в каком-нибудь из новых, которых сейчас полно, а откроется еще больше, а когда принимаешь друзей мужа, мечешься, как угорелая, голова идет кругом, только ночью иной раз услышишь сквозь сон, как в ванной зашумит и смолкнет вода; самое лучшее — выпить рюмку с мужчинами и не будет нехороших мыслей. Ведь никому не расскажешь, что за эти годы она видела Татьяну всего несколько раз, мельком, только один — лицом к лицу, и как страшно она переменилась, и как сама она, скрепя сердце, прошла мимо в коридорной полутьме, благо, через четверть часа явился Феликс, и как месяц назад, когда Татьяну забрали в клинику, пришел участковый опечатать дверь, и про то, что она видела — про бельевые веревки в комнате, тазы, главное, про ведро, назначение которого с грубоватой прямотой объяснил ей участковый. В церковь она ходит часто — в Ивана-Война у Октябрьской, если идет вечерняя служба, стоит ее, просит церковных старух поставить свечи за мужа и за себя, не зная толком, как надо молиться. Феликс отвозит ее в церковь на одной из машин, на которых ездит по доверенности.

— Ты не зайдешь со мной?

— Нет. Подождать — подожду. Только давай побыстрее.

Оглянувшись в воротах, она видит, как он курит, развалясь за рулем, и в ветровом стекле — отражающееся небо.

Гений

Моему собеседнику было за сорок, и времени у нас было вдоволь, чтобы поговорить о себе, о старине. Коньяк, за которым мы коротали вечер, был слишком хорош для наших мест — мы оба ненадолго вернулись на родину и встретились случайно. Ничто не связывало нас, кроме воспоминаний, могил и моего ремесла: люди, как правило, хотят многое выложить писателю. В баре было людно, и хоть он помещался в Доме актеров, актеров среди посетителей не было. Наступали новые времена.

Время горит, как порох, молвил мой собеседник. Однажды тебе говорят, что в паспорт нужно вклеить новую фотографию и так ты узнаешь, что тебе сорок лет. Алик Грановский в Израиле говорит, что я постарел, но я не очень ему верю. Мы не молодеем, это так, и, может быть, многое меняется — но не мы. Ты бы посмотрел на него в его пекарне! В голову бы не пришло, кто он такой. С виду — обычный еврейский булочник, платит налоги, водит в синагогу детей, чтит субботу. Был с ним случай, который столько лет не идет у меня из головы.

Мама, царство ей небесное, недолюбливала его. Она вообще не любила тех, кто умел устраиваться в жизни. Могло показаться, что ему везло в те нищие семидесятые. Фотопромысел тогда процветал, и дела у Алика шли в гору. Не так, конечно, как у Сильвы или Дорика Дохана, но стоял он крепко. Дольщиком у него был Шадловский, помнишь его? После, когда все кончилось, он развелся с той потаскухой, тогдашней женой, получил наследство дяди из Бельгии и перебрался туда. Больше я о нем не слыхал. С Грановским мы не были близкими друзьями. Но я уважал его и товарищи у нас были общие. Все-таки я поразился, когда он обратился ко мне в беде. Впрочем, в беде не выбирают.

Дело было так. Пока они с женами летали обедать на Медео и гуляли в загородных кабаках, их «батраки» работали по всей Сибири. Бригадиры у Грановского, к несчастью, были не первый сорт. Один из них возьми, да помри от запоя в гостинице в Новосибирске. Шадловский тотчас вылетел туда, но милиционеры были быстрее. При обыске в номере бригадира нашли реестры на две тысячи адресов, на которые надо было кидать «работу».

На допросе Шадловский показал, что работал на Грановского.

Я застрелил бы его, не раздумывая, Алик простил. Тогда я впервые подумал, что он терпимей, и, может быть, разумнее нас всех, хоть не поспешил бы назвать это мудростью. Уж больно Алик Грановский не походил на мудреца. Если он и был на кого-

то похож, так на армянина с крытого рынка. Залысины, золотые коронки, черные глаза. Неделю спустя он пришел к нам с Гариком Шойхетом. Пришел просить, чтоб мы встретились с сибирской следственной бригадой. Те только что прибыли в город и поселились в гостинице на площади. Ирка Донде — ее ты помнишь, — сказала ему, что они явились по его душу.

Гарик подумал и сказал, что возьмется уладить это дело.

Мы тогда помогали друг другу.

Договорились о деньгах.

Мы приехали в гостиницу, вошли в номер к этим парням, уселись и предложили им по десять тысяч отступного. Приличные деньги, очень приличные по тем временем. Действовали мы без риска. Одно дело — предлагать деньги, другое — дать. До денег не дошло. Ребята были молодые, правильные и злые, как шершни. Больше всего их взбесило, что их, сибиряков, держат за лохов наши фотоволынщики и цеховые. Они клялись, что не пройдет и суток, как они увезут этого жиденка в наручниках в Новосибирск.

Гарик ответил без особой поспешности: «Если мы разрешим вам это сделать». Дальнейший разговор был нелеп.

Из вестибюля мы перезвонили Алику в бар на Свердлова и рассказали, как обернулось дело. Метро было в двух шагах от бара, но он попросил меня встретиться с ним вечером в доме у одного типа, о котором не стоит говорить.

Я пришел, как условились.

Кроме меня там уже были несколько человек. Покойный Валера Диксон, Саша Браверманн, Боша, Саша Козырь. Вино было дрянь, квартира еще хуже. Хозяева держали собак, с которыми охраняли сады. Жена хозяина, гадалка, принесла рыбу и сыр. У нее было доброе сердце, и при виде Алика она не могла сдержать слез. Все это напоминало поминки. Мы пили молча. Наконец, Алик объявил, зачем собрал нас. Он хотел получить совет от каждого.

Я предложил укрыть его в Москве. В Москве проще затеряться, а потом, мы вели дела с москвичами — в основном, с семьями грузин. Другие поддержали меня. Козырь сказал, что Алик может пересидеть у его родни в Ростове. Не думаю, что Алик решил испытать нас, но, может быть, такая мысль у него была. Время тянулось к полуночи, и сознание беды витало в воздухе, как пепел. Алик молчал.

Был он как-то странно спокоен. Месяц назад у него родилась дочь, второй ребенок в семье. Он попросил Ольгу погадать ему. Та взяла его руку, посмотрела ладонь и разрыдалась в голос. И тогда он сказал, что никуда не уедет. И что в тюрьму не пойдет. Как вывернется, пока не знает, но бега не для него. И быть в

тягость лучшим друзьям он не желает тоже.

Может быть, он решил, что дома помогают стены, услыхал подсказку судьбы? Ни тогда, ни потом я не спросил его об этом. А стоило бы. Слишком уж он был спокоен для человека во всесоюзном розыске.

Ты помнишь, история была нашумевшая. С предпринимательством боролись, цеховых и валютчиков расстреливали подряд. Восьмидесятый год выдался страшным. Я потерял четырнадцать друзей. Нервы сдавали у самых крепких парней. Лернер повесился в гостинице в Ленинграде. Диксон утонул пьяным на мелкой воде, и когда его нашли, труп опознали с трудом. Деньги давались легко и мы жили быстрей, чем летело время, но ради денег не стоило жить. Журнал «Человек и Закон» опубликовал две статьи о «Деле Грановского», выставив несчастного Алика главой преступного синдиката и врагом рода человеческого. А был он просто еврейский парень при делах с женой-парикмахершей и двумя детьми, которого подвели случай и напарник.

Кто б мог тогда вообразить, как далеко и как надолго разбросает нас жизнь!

Месяца через два он позвонил и сказал, что ждет меня на Данилевского. Я пришел. Он просил — ни много, ни мало — чтобы я дал за него деньги милиции. Капитану в его райотделе. Его участковый заболел, сказал он, и если не дать деньги вовремя, быть беде. Прежде, чем ответить, я оглядел его с головы до ног. Попадись я, меня бы упекли лет на восемь. Я спросил только: почему я?

«Ты — единственный из моих друзей, Марик, у кого нет детей», был ответ.

Возразить я не мог. Страха тогда я не ведал, да ты помнишь, каким я был! Я взял конверт, спрятал в карман пиджака и направился в отделение. Я пережил несколько неприятных минут, ожидая, пока капитан останется один. Он забрал у меня деньги прежде, чем я раскрыл рот. В дверях я сказал ему, что деньги от Грановского. Алик доверился мне полностью, и не прогадал. Оказалось, он устроился в мастерской по ремонту антиквариата в двух кварталах от собственного дома. Поселился он у одной разведенной девки, большой любительницы развлечений. У нее была дочь, за которой присматривала мать, и они с Аликом были большими друзьями. Приятно иметь таких друзей! Я зашел к ним на минуту и задержался на неделю. То, как я жил тогда, чести мне не делало, но льстило моему самолюбию — бесконечные застолья, кончавшиеся оргиями… Ничего другого не мог предложить чертов город, как все наши южные города! У этого

маленького сукиного сына был дар распутничать: девки почему-то не боялись его, а подчинялись ему с великой радостью и шли у него на поводу! Медсестры, студентки, парикмахерши, официантки вытворяли такое, что не рассказать. Раз с нами всю ночь кувыркалась лейтенант милиции. Она недурно смотрелась в милицейской фуражке и в кителе. Он так умел обставить дело, будто мы одна дружная семья. Прямо-таки братья и сестры. Девки любили нас беззаветно, а в нем просто не чаяли души! Не за деньги, а за то, что с нами можно было куролесить без боязни. Вот чего добивался Алик. В нем точно бес сидел. В любую минуту его могли выдать властям, по городу были расклеены его портреты и если б он попался, срок отбывал бы в Сибири, и не вернулся бы живым наверняка. Другой на его месте сторонился бы собственной тени. А этот гонял по всему городу на машине Гришки Ханданяна, и на заднем сиденье у них сидела девка или две, которых они с Гришкой путали на вечер. Работу в мастерской по большей части делали за него. Диву можно было даться, откуда в нем столько бесшабашности и дерзости! Он то ли искушал судьбу, то ли внутренний голос шептал ему, что с ним ни черта не случится. Но жил он как в последний день.

Говорить об этом он не хотел, думать — тоже.

А, между тем, подумать было о чем. Взять хотя бы тот вечер, когда мы передрались с татарами и дошло до ножей, или когда Олег убил Анвера. Да и мастерскую его нельзя было назвать безопасным местечком. Клиентам он старался не попадаться на глаза. Но как-то вечером я зашел за ним, и застал в мастерской Бриллианта и Базарного. Помнишь Бриллианта? Того, что был наводчиком и получил десять лет, еще судимость — за террор заключенных, ставших на путь исправления. Базарный ездил по городу в домашних шлепанцах, торгаши с Конного и Благовещенского рынков отстегивали ему. Они расположились играть. Бриллиант сказал Базарному: исполнишь что-нибудь с картами, пристрелю — и выложил револьвер на стол. Базарный сделал то же — выложил дуру, и это было только начало. Начни они пальбу, Алик спалился бы в два счета.

Потом я уехал в Москву.

Мы виделись несколько раз, когда я навещал родителей. Это были памятные встречи. Я не заметил, как пролетели три года.

В Москве я узнал, что когда истекла исковая давность, Алик с Шадловским тихомирно были оправданы Новосибирским судом.

Теперь, спустя годы, эта история представляется мне иначе. То была лучшая пора его жизни — настоящий подарок судьбы. Но как вверился ей? В книгах, которые ты перечел, об этом ничего не сказано?

Я только пожал плечами.

Я знавал Алика Грановского, как, впрочем, многих, с кем вместе рос.

В истории, выслушанной мной, для меня было мало неясного. Редкостные негодяи у меня на глазах становились почитаемыми людьми. Американское правосудие делает преступника свидетелем, если тот согласится «сотрудничать» — мысль крамольная для кодекса и уклада улиц и провинциальных городов России. Уайлдер посвятил феномену предопределения первый и лучший из романов. Он всерьез думал над тем, над чем посмеялся Дидро. Я знал гадалку, которая ошиблась. Она нашла потом достойного мужчину и родила ему сына. Я встретил ее с мужем, и нам нечего было сказать друг другу. Когда-то я нравился ей, но я любил другую женщину. Однажды она по телефону разгадала мне сон, который спас мне жизнь.

О гении человека подробно рассуждает Платон. Гегель дает этим суждениям логическое толкование, полагая, что гений человека является его роком, и проявляет себя, когда непознанная нами часть нашей натуры заявляет права на нашу судьбу, вынуждая нас поступать так — а не иначе. Здесь он оставляет место Шопенгауэру, Фрейду и последователям. Писание предостерегает нас от попыток проследить Божий Промысел. То же говорит Экклезиаст, призывающий нас «не умствовать слишком» — и не мистифицировать очевидное. Меня не печатали годы. Я не любил коммунистов и верил, что причина в этом. Позже, в приливе откровенности один из моих бывших редакторов, похлопав меня по плечу, сказал: «Ты прекрасно владел контаминацией. Но надо было жить в библиотеке, чтобы перепроверять твои цитаты!».

Я до сих пор благодарен ему так, как только может быть благодарен человек за простое объяснение своих неудач и злоключений.

История российской администрации

Изучая историю наполеоновских войн, я заключаю (для себя), что войны суть некие потаенные стадии жизни административных систем, постигаемые или развоплощаемые, пользуясь терминологией Шпенглера, в сопоставлении и исторической ретроспективе. (Именно такой взгляд на вещи принято называть пораженческими настроениями). В колоссальном наследии Бонапарта, военных историков и невоенных бытописателей эпохи российский поход императора представляется по-разному. Менее всего расположенный понимать административную систему как школу воспитания и патриотизма, подразумевающую героизацию тех или иных факторов личной или коллективной доблести партизан регулярной армии, т. е. отождествлять ее с народом, я в данном случае пользуюсь примерами Тарле из книги, написанной при Сталине. Это три истории, и они любопытны. Вот первая.

На балу, данном в его честь в Вильно, поздним вечером 24 июня 1812 года, Александр узнает, что Бонапарт перешел Неман. Призывается министр полиции Балашов. В два часа ночи царь вручает Балашову письмо для императора. Следуют дополнительные инструкции: переговоры о мире могут начаться под непреложным условием, чтобы наполеоновская армия покинула пределы России. Выехавший в ту же ночь Балашов на рассвете прибывает к аванпостам французской армии в местечко Россиены. Французские гусары проводят его сначала к Мюрату, потом к Даву, который весьма грубо отнимает у Балашова депешу и посылает его с ординарцем к Наполеону. Назавтра Балашову приказано продвигаться с корпусом Даву к Вильне. Двадцать девятого июня Балашов попадает в Вильну, на другой день, тридцатого июня за ним является камергер Наполеона граф Тюренн, и Балашов попадает в императорский кабинет — в ту самую комнату, из которой пять дней назад его изволил отправить Александр I[81].

Вторая такова. В 1812 году Федор Васильевич Ростопчин назначается главнокомандующим Москвы[82] В должности главнокомандующего он выдумывает некие проекты. Он возится с Леппихом — проходимцем, приехавшим из Германии и уверяющим, что он может выстроить воздушный шар, на котором поднимется над французской армией. Он уверяет, что таким образом может уничтожить Бонапарта.[83] Леппихом и его шаром очень интересуется Александр, полагающий (по более позднему свидетельству Аракчеева), что таким образом можно «отвлечь и развречь умы». Ростопчин с полной симпатией относится к

Леппиху. Тот ежедневно посылает записки, что нужно еще потерпеть, дать еще денег, и шар полетит: так, 30 июля 1812 года он записочкой требует у Ростопчина двенадцать тысяч рублей, а двадцать четвертого августа, за два дня до Бородина, пишет следующее: «Ваше сиятельство не может себе представить, сколько встретил я затруднений, приготовляя баллон к путешествию. Но зато вот уже завтра непременно полетит». Ростопчин особой афишкой обращается к московскому народу: «Здесь мне поручено было от государя сделать большой шар, на котором пятьдесят человек полетят, куда захотят, и по ветру и против ветра, а что от сего будет — узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели». Получив достаточно денег от Ростопчина, Леппих исчезает.

И третья. Эта, последняя, хрестоматийна, поскольку описана Толстым. Купеческий сын Верещагин арестовывается Ростопчиным за «прокламации»; обе — апокрифы, речь Наполеона к князьям Рейнского союза и письмо Наполеона к прусскому королю. По одной версии Верещагин — сумасшедший, по другой — своеобычный русский тип человека мечтательного, выдумщика. Полицией задерживаются Верещагин и его товарищ, Мешков. Четырнадцатого сентября 1812 года Ростопчин готовится бежать из Москвы вопреки многократным шумным заверениям, что Москву не покинет. В десять часов утра закладывается экипаж. Выехать, впрочем, непросто: толпа москвичей, покидаемых губернатором, стоит перед дворцом с раннего утра, люди озлоблены. Ростопчин вынужден к ним выйти и сразу понимает, что последует расправа. Толпе нужен виновник и предатель. Ростопчин велит привести Верещагина и приказывает зарубить его на глазах толпы. Воспользовавшись неразберихой, он бежит из Москвы.[84]

У меня нет сомнений в том, что эти истории по существу одна история. Плотин указывает, что время имеет некоторое сходство с вечностью, равным образом принадлежит жизни и вечности: «Мы говорим, что вечность — это жизнь, полная покоя, равенства и бесконечности, и что время должно быть отражением вечности, которое относится к своему оригиналу точно так же, как видимая вселенная к умопостигаемому миру»[85]. Если так, истории российской администрации неизбывны, поскольку они и есть история в том понимании, в каком вечен мир.

Наполеон не понимает, с феноменом какого рода он сражается. В числе множества других свидетельств[86] его потрясений письмо к Александру, изданное в официальной

корреспонденции Наполеона, в котором он (не подозревающий, что Александр в Петербурге поощряет поджоги) прямо заявляет, что вынужден взять на себя функции администрации, полиции и стражи: «Прекрасный и великий город Москва уже не существует. Ростопчин сжег его. Четыреста поджигателей арестованы на месте преступления. Все они объявили, что поджигали по приказу губернатора и директора полиции; они расстреляны. Огонь, по-видимому, наконец, прекратился. Три четверти домов сгорело, одна четверть — осталась. Имелось ли ввиду лишить его (Наполеона — Е.Т.) некоторых ресурсов? Но они были в погребах, которых огонь не достиг.

Впрочем, как можно уничтожить один из красивейших городов целого света и создание столетий, чтобы достигнуть такой малой цели?

Это — поведение, которого держались от Смоленска, только обратило шестьсот тысяч семей в нищих. Пожарные трубы города Москвы были разбиты или унесены…»

Огонь (пламя) — прообраз войны — воспринимается историками по-разному; по-разному построены контаминации из дневников очевидцев, в том числе французских офицеров: стихия ли это народного гнева, отвечающая русскому характеру или чему-то варварскому в русском характере, или часть плана по ведению партизанской войны силами регулярной армии, известная XX веку по арабским странам, мы не ответим. Достоверно, что Наполеон пытается создать администрацию в пустом, выжженном и вымирающем городе, в котором в считанные дни разлагается самая боеспособная армия мира!

Дальнейшее известно. Наш интерес могут вызвать некоторые реалии, как они вызывают интерес Дюма, назвавшего Ростопчина Величественным Геростратом, спасшим страну: «Мы понуро шагали, предоставленные сами себе, посреди снегов, по еле различимым дорогам, сквозь пустые и бесконечные пихтовые леса.

Несчастные, измученные болезнями и голодом, падали под тяжестью невзгод, испуская дух в страданиях и жестоком отчаянии. Там с яростью бросались на предполагаемых обладателей провизии и, если находили, то отнимали ее, несмотря на сопротивление и страшные ругательства.

В одном месте люди дрались за куски уже разделенных трупов наших лошадей; в другом слышались крики и стоны жертв, у кого не было сил, кто, корчась на дороге, борясь с устрашающей агонией, умирал мученической смертью.

Дальше группы, собравшиеся вокруг лошадиного трупа, дрались между собой, оспаривая куски. Пока одни отрывали

мясистые части, другие, залезая внутрь, вырывали внутренности.

Со всех сторон можно было видеть мрачные, испуганные, изуродованные и обмороженные лица.

Повсюду были растерянность, боль, голод и смерть.

Чтобы перенести эти ужасные бедствия, павшие на наши головы, необходимо было обладать душой энергичной и храброй. Нужно было, чтобы моральная сила умножалась по мере того, как обстоятельства делались более угрожающими. Позволить себе быть задетым плачевными сценами, разворачивавшимися перед собой, значило приговорить самого себя. Следовало захлопнуть свое сердце от малейшего чувства жалости. Те, кому посчастливилось найти внутри себя силу, способную перенести столько страданий, выказывали самую холодную бесчувственность и замкнутость, самую непробиваемость.

Посреди окружавших их ужасов они спокойно и бесстрашно переносили все превратности, бросали вызов всем опасностям. Принужденные видеть перед собой смерть в самых отвратительных формах, они привыкли встречать ее без страха. Они оставались глухи к призывам боли, летящим со всех сторон. Когда какой-нибудь несчастный погибал на их глазах, они холодно отворачивались, не выражая ни малейшего сочувствия, и продолжали свой путь.

Эти несчастные жертвы оставались брошенными на снегу, поднимались, пока хватало сил, потом падали без чувств, не получая ни от кого ни слова утешения, ни малейшей помощи. Мы шли безмолвные, опустив голову, и останавливались только, когда наступала ночь. Измотанные усталостью и нуждой мы должны были искать еще если не пристанища, то по крайней мере укрытия от северного ветра. Мы бросались в дома, амбары, под навесы, в любые строения, встречаемые в пути, и через несколько секунд сваливались таким образом, чтобы нельзя было больше ни войти, ни выйти. Те, кто не успевал туда проникнуть, располагались снаружи. Их первой заботой было обеспечить себя дровами и соломой для бивуака. Взбираясь на дома, они срывали крыши, выламывали балки, перегородки, несмотря на сопротивление тех, кто в них находился. Если люди не желали покидать занятое помещение, они рисковали погибнуть в пламени. Очень часто те, кто не мог проникнуть в дома, поджигали их. В большинстве случаев это происходило со старшими офицерами, когда они захватывали дома, выгнав тех, кто пришел раньше.

Вскоре вместо того, чтобы располагаться в домах, их стали разбирать до основания, а полученные материалы растаскивать по полям. Возводя отдельные укрытия, люди разводили костры

для обогрева и приготовления пищи. Обычно готовили каши, разогревали галеты, поджаривали на огне куски конины.

Каша была самой распространенной едой. Так как невозможно было достать воду, в котелке растапливали необходимое количество снега. Затем в полученной таким образом черной и грязной жидкости растворяли порцию грубой муки и ждали, пока эта смесь загустеет до состояния каши, которую приправляли солью или, за неимением ее, высыпали два или три патрона, что удаляло излишнюю пресность, а заодно и подкрашивало, делая ее очень похожей на черную похлебку спартанцев. Конину готовили так: разрезали ее на полоски, присыпали их порохом и раскладывали на углях.

Покончив с едой, все вскоре засыпали, подавленные усталостью и удрученные тяжестью своих бед, чтобы начать назавтра снова такую же жизнь».

Отступление Наполеона к Березине, как и самый российский поход императора, я, безусловно, считаю торжеством российской администрации и ее апофеозом.

Адвокат дьявола

Руки, кожей напоминавшие вощенную бумагу, жили упорно, вопреки всему — безостановочно, бессильно и бесцельно шарили по одеялу, приминали атлас в мягком сиянии лампы под шелковым абажуром, под которым на столешнице в беспорядке были сдвинуты фотографии в тонких серебряных рамках, гарднеровский подсвечник поднос с пузырьками лекарств и порошками в облатках — рассыпанных, нетронутых, ненужных. Бритый подбородок полковника задрался, утонула в подушке седая, стриженая бобриком голова, веки сморщились в считанные часы и теперь, полуприкрытые, блестели влагой; рот запал, проступила лепка лица; но дыхание, хрипло-прерывистое, отчетливо слышалось в тишине спальни. Тишина царила и в зале и в прихожей. Ронял золотые, маслянистые отблески маятник, бесшумно ходивший за стеклом часов. Дом на Немецкой улице — где в гостиной мебель была забрана в чехлы и фамильные портреты завешены, а в библиотеке с большим кожаным диваном выцвели литографии с видами Амстердама, Антверпена и английскими скаковыми лошадьми, где еще недавно от калориферов шло приятно обволакивавшее тепло, помогавшее переносить боли в суставах и журнал «БЫЛОЕ» раскрытым лежал на шотланском пледе, и коробка с папиросами была под рукой, где итальянское окно, выходившее в старый сад, горело заполночь, где в последние дни раздавались деликатно-приглушенные голоса и осторожные шаги прислуги за дверью, от которой уже шел запах тления — как в чаду, стоял в предгрозовых лиловеющих сумерках, быстро наливавшихся чернотою, замерший, и, как часовня, обособленная от земных дел и забот — ибо полковника уже соборовали. Хмурый доктор, в минуты раздумий неприятно хрустевший пальцами, уставший дожидаться агонии, отбыл — спустился с крыльца и зашагал, опираяясь на трость и поглядывая на меркнующее небо. Под липами он приостановился, поджидая пожилого священника с сырым некрасивым лицом.

— А согласитесь, батюшка, что спасти чью-то душу проще, чем бренную плоть, — без особой доброжелательности заметил он, точно продолжая давний диспут. — Трудясь бок о бок с вами, в меру отпущенных сил и разумения, в который раз убеждаюсь в сием. Дело ваше вернее моего, тем паче, что пребываете вы в блаженном неведении относительно результата. Ну-с, не хотите ли проехаться до нашей матери-церкви?

— Благодарствуйте, я пешком, — ответил священик.

— Как угодно, — сухо сказал доктор.

Коснувшись полей шляпы, он поднялся в пролетку, сел — ерзая на оси, она покатила вниз, к Мироносецкой площади, где уже горели газовые фонари. Туда же направился священник, торопясь, превозмогая усталость — навстречу праздной публике, гулявшей в Университетском саду, а теперь спешно возвращавшейся Монастырским переулком; студенты, барышни, служащие страхового общества «Саламандра», Московского купеческого, Земельного, Азово-Донского банков шли от Пассажа и Карповского ряда. Священнику попадались молодые приказчики, рабочие, золоторотцы, хлынувшие из питейных заведений Сумской, и ветер, по-осеннему холодный, гнал пыль со стороны Николаевской площади — возвышенности, застроенной помпезными зданиями Дворянского собрания, гостиницы «МЕТРОПОЛЬ». Слышно было конку, а затем пробили городские часы, сработанные в Париже Борелем и установленные Эдельбергом в колокольне Успенского собора; тоскливыми показались священнику витрины, голубой газ фонарей, пустевшая на глазах улица. Тучный, коротконогий, отвыкший от быстрой ходьбы, он потел, шел тише, чтобы унять одышку и, чувствуя, как прыгает сердце, невольно вспомнил о полковнике. Неужели затем, чтобы умереть возвратился в родной город этот нестарый человек, не сделавший карьеры при Генеральном штабе? Но думать об этом — означало попытаться постичь Промысел, и, завидя церковь, священник ускорил шаг.

На Немецкой улице, тем временем, готовились к грозе: запирали окна, спускали шторы, гасили электричество и подносили огонь к фитилям керосиновых ламп; дворники прятали в парадные плетеные стулья, на которых вечерами сидели обывательницы, да вязали старые немки; под хлещущим ветром гнулись разросшиеся липы, грохотала ломовая телега и печально, тревожно шелестел старый сад за стеной с встроенной в нее полуциркульной калиткой. Вот в небе грохнуло, разорвалось и полыхнуло в низкой мгле над золоченым куполом Успенского собора. И тогда из тени лип выступил некий господин — давний кошмар полковника. Прижимая подмышкой кожаную папку с бумагами, он толкнул калитку, вошел в сад, огляделся, с удовольствием вдыхая разреженный прохладный воздух, слушая, как первые капли шуршат в кустах боярышника; неторопливо взошел на террасу, придирчиво оглядел свой костюм — собравшийся гармошкой цветной жилет — прошел в гостиную, оттуда — в спальню полковника. Не выпуская папку, он сел прямо на постель умиравшего; легко и развязно потряс его за плечо, привскочил, помогая ему сесть — лысый, коренастый, со

стриженой курчавившейся бородкой и необыкновенно живыми глазами. Мгновенье полковник разглядывал его, пристально и брезгливо, как в былые дни, но сейчас кадык натужно ходил на горле и видно было, как под рубахой бьется сердце. Адвокат отошел на середину спальни, и, оглядев полковника, покачал головой.

— Вы явно не рады мне, ваше превосходительство! — промолвил он с укором, но без обиды, жестом бессилия разведя пухлые маленькие руки. — Ну что за ненависть, что за взгляд, что за прием! Будьте благоразумны, ваше превосходительство!

— Ты дашь мне спокойно умереть? Ты видишь, я умираю!

— Умираете, — подтвердил адвокат, — Именно поэтому я здесь. Вы умираете, но еще *не умерли.* Pardon, имел ввиду не мертвы, иначе приговор был бы вынесен. Нам, как вы знаете, предстоит процесс, и должен напомнить вам, что защищаю я не вас, а идею защиты. А вы, как прежде, не желаете признать, что нуждаетесь во мне — не просто больше, чем думаете — больше, чем в силах вообразить, и попусту тратите наше время! Минуты идут, ваше превосходительство! Я ведь вам говорил: вам будет дана возможность и сказать свое слово, и отказаться от моих услуг — хоть по мне это будет последняя ошибка. Но должны же вы знать, что вам вменяется в вину! Идемте. Мундир не обязателен, просто набросьте шинель. Нам предстоит прогулка. Une petite promenade![87] Но уж поверьте, смысла не лишена. У меня превосходная речь в вашу защиту!

Он открыл шкаф, доставая парадную шинель полковника.

— Куда мы идем? — хмурясь, запахивавший полы на груди, спросил полковник, — Куда поближе, — любезно откликнулся адвокат. — Мы ограничены временем, est affreux,[88] но так ли страшна эта беда и не есть ли она, в конечном счете, маленькое благо? Минута принадлежит нам или мы минуте, это, конечно, решат в Суде, но мне хотелось бы иметь ответ более основательный, чем молчание, — пробормотал он, выходя с полковником на ливень.

Ревела в водостоках вода. Обходя лужи — капли сбивавшие наземь листья каштанов, били, как дробь, — оба шли в зеленоватом свечении вдоль по Немецкой, мимо церковного двора и Мироносицкого кладбища с его меланхолическими надгробьями, затем — по рельсам конки в булыжной мостовой, к фонтану между биржевым павильоном и Думой, к ограде Успенского собора, оттуда — к лавкам ювелиров, рядам Серебряной линии, Гостиному ряду, протянувшемуся к Торговой площади. Сквозь ливень там и сям мутно светились залы, мерцали огни, ржали лошади у коновязи полицейского

управления. Полковник шагал, не разбирая дороги, выпятив подбородок, глубоко запустив руки в карманы шинели, адвокат семенил, не поспевая за ним. На набережной за мостом полковник остановился так резко, что адвокат едва не столкнулся с ним. На адвоката полковник не глядел. Глаза, почти прозрачные на изможденном лице, медленно оглядели темную рябь реки, гранитный берег, чугунную ограду, темневшие в небе витые купола церкви Святого Благовеста.

— Я хочу знать, куда мы идем. — Он не смотрел на адвоката.

— Желание законное, — кивнул адвокат. Оправляя жилет, он старался поймать взгляд полковника. Потом скучающе оглядел набережную и воды реки, которые полосовал ливень. — Потребность сердца, бесстрашного, хоть и усталого, которую надлежит уважать! Доверьтесь мне. Идти осталось недолго. К каких-нибудь несколько шагов, полковник! Мне ли испытывать ваше бесстрашие! Впрочем, — он обошел полковника и, приподнявшись на цыпочках, заглянул ему в глаза, — всему на свете настает конец, даже бесстрашию. Comment faire?[89]

Он заходил перед полковником, задумчиво скребя бородку.

— Nous persistons, n'est-ce pas?[90] — внезапно объявил он, остановившись, зубы блеснули в усмешке. — Мужество, гордость, честь… Кто скажет мне, что я не разделяю высокие чувства? Правда, прониклись мы ими, когда герои полками шли на Крымскую войну, помнится, тут, на Сумской улице, и скупщики во весь дух ставили винные лавки, а Мироносицкая церковь, служитель которой так ревностно приобщал вас к святым дарам, недурно нагрела руки на народных гуляньях, которые не замедлила учредить! М-м-м-м-м! — Он свел брови и возвел глаза к небу, низвергавшему ливень. — Как грустно, что из века в век грязные денежные дела сопутствуют всему, что свято! Какое разочарование для молодых сердец! Вот именно, — он постучал по папке, — в этом пункте обвинения мы сошлемся на молодость, на вечное незнание правды! Нам есть, что сказать, ваше превосходительство. Мы будем защищаться! Вперед!

Подхватив полковника под руку, адвокат увлек его по Екатеринославской за Дмитровскую церковь и жандармский манеж, мимо ворот складовочной таможни и генерал-губернаторского дома, ресторанов и мастерских, Привокзальной площади и рельс с блестевшими от ливня вагонами, вверх по мостовой и дальше, вдоль монастырских стен, постоялого двора, трактира «ЗАЛЮТИНО». За расквашеной ливнем дорогой, перелесками, провалами мрака, беззвездными пустынями скошенных полей виднелись крошеные дома на кромке тумана, сотканные из мглы, будто из потемок памяти — классические

фронтоны, ограды фигурного литья, шпиль Адмиралтейства за заливом.

— Вперед! — бормотал адвокат, охваченный возбуждением. — Таврический дворец, узнаете, полковник? Le grand moment, историческая ночь! Родзянко выступает в Государственной думе! Мыслящая Россия узнает из завтрашних газет, что Япония, наш союзник в этой священной войне, выполняет обязательства, мы же, великороссы, вершим судьбы народов, исполняя наше предназначение! — Он взмахнул папкой в сторону жарко горевших дворцовых окон, белевщих колонн, влагой и глянцем отливавщих лимузинов, выкрикивая как уличный разносчик; голос звенел неистовым торжеством. Восторженно, стремительно он поворотился к полковнику. — Мы потесним их на Балканах, разобьем в Западной Европе! Не позже весны наши казаки войдут в Берлин! — прокричал он, выпятив грудь и уставясь на полковника остекленевшими глазами. Спустя мгновенье взгляд его стал осмысленным. Он поджал губы, придвинулся к полковнику и покосился в сторону дворца. — Здесь присутствует великий князь Константин, — конфиденциально подняв брови, сообщил он, и, наставив ладонь, зашептал на ухо полковнику: — Он без конца вмешивается в дела Военного министерства! Им недовольны. Милюков заговаривает об отставке, в нем видят второго Витте. Придется заново формировать кабинет! Возмутительно, вы не находите? Может быть прав был великий князь Николай Михайлович и причина всему — слабоволие государя? Безобразов затеял русско-японскую войну, теперь мужик именуется «нашим другом», ранее «нашим другом» был monsieur Philipp, мясник, mais oui,[91] на которого Лубэ в ответ на просьбу государя выдать ему диплом прислал отзыв своей криминальной полиции! Как вам понравился этот действительный статский советник, потомственный российский дворянин, лекарь Военно-медицинской академии, доверенный врач царствующей семьи? Что это за государь, — нашептывал адвокат, распаляясь, — который чуждается людей независимых, замыкается в семье, с утра до ночи занят с мошенниками и сновидцами, распоряжается министрами как приказчиками и посвящает досуг стрелянию ворон? На что ему столько охраны — этих тупиц с мордами истязателей, нанятых на народные деньги! Откуда надменность, неприступность, взгляд на себя как на избранника высшей воли? Я знаете-ли, невысокого мнения о царствующем доме, а вы? — Адвокат выпятил губу, заложил палец за пройму жилета, метнул на дворец уничижительный взгляд, — А эти штатские, господа и господинчики, выразители чаяний и нужд народа, который не

видали в глаза, англоманы и прозелиты английской революции образца тысяча шестьсот сорок восьмого года, немецких мыслишек и экономических реформ, заводчики с душами кликуш и обритыми черепами! Кто они — трибуны и деятели, или свора вещунов и душегубов, пеняющих друг другу цифрами земских статистиков? Что это они разошлись так, будто сами изобрели фракционную борьбу? А не следует ли попросту взять, да и разогнать их, как свору собак — хлыстом доезжачего и присечь эту взрывоопасную болтовню? Что есть власть? — вдруг зашептал он, потирая пальцами горло. Он уставился в стылый туман, витавший над заливом. — Навеянный тщеславием сон или твердыня, о которую в страшной тщете веками бьется людское море? Может быть, это кабинет с картой, утыканной булавками? Или мирок зла за дверями и воротами, в который поротые мужики, да курносые бабы даже не мечтают достучаться, довольствуясь тем, что отвечают чины гражданских ведомств, да пишут газеты? Самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения их или отмены должен повиноваться им; деспот издает законы, сам не подчиняясь им априори. Законы! Quod principi placuit, legis habet vigorem[92]! О, нет опасней теорий, охраняющих *Insignia regia,*[93] опирающихся на деспотическую власть, располагающую возможностью ломать уложения и устои — из собственных представлений о народном благе! Единоличный произвол подменяется парламентским, народ, *instrumentum semivocale,*[94] молчит, в первую очередь, о собственном благе. Несчастная страна! Что есть народ? Народ анонимен — я это замечу Суду — попросту совокупность индивидов, отличная от общности, творящей среду духовную, но тем не менее, ее порождающая. Всех — подвижников, филистеров, arriviste,[95] poete maudit,[96] узколобого социалистов, мыслящих уровнем мостовой, неврастеников, помешанных на равенстве, аристократа духа и военного, как вы, ваше превосходительство! Правда, нам тут же зададут вопрос: что есть родина?

— Что ты бормочешь? — спросил полковник, с ненавистью глядя на своего мучителя.

— Что ты, наконец, хочешь?

— C,est entendu,[97] — не глядя на полковника, негромко сказал адвокат. — Если угодно, я размышляю — о том, как вы готовили Ванновскому доклад о преобразовании военных гимназий в кадетские корпуса, как, скажем, принимали участие в подготовке перевооружения полевой артиллерии, вошли в особую опытную комиссию для изыскания наилучшей системы магазинного оружия при Оружейном отделе Артиллерийского

корпуса, пытаюсь, наконец, объяснить вашу деятельность непосредственно в Еенеральном штабе! Нам, знаете ли, придется защищаться по каждому пункту обвинения. — Адвокат потряс папкой, точно прикидывая, какова она на вес. — Мы можем, — продолжал он деловито, — повторить за Христом: proximus sum egomet mihi,[98] однако, я по опыту знаю, что эта перелганная заповедь только обозлит обвинение. Да, Суд это смутит, но снисхождения мы не заслужим — ни долгом, ни рвением, ни честолюбием мы ничего не объясним! Народ, родина, правительство, история — на это ссылаются поголовно! Вот вы, например, человек европейски образованный — можете ответить наверное, творится ли история в дворцовом зале или за ближайшим углом? — Не дожидаясь ответа, он махнул папкой в сторону горевших во мгле окон. — Не до них. Пусть себе заседают! Allons, allons![99]

Схватив полковника за рукав шинели, он потащил его по лужам туда, где далеко — в искрящейся моросью мгле — светились часы Николаевского вокзала. Смешно избоченясь, выставив вперед плечо и торчавшую из подмышки папку, он шагал, столь стремительно, что полы пиджака разлетались, маленький, страшный в своей сосредоточенности. Чуть позади, придерживая отвороты шинели у груди свободной рукой, шел полковник.

Невский проспект, Казанский собор, высившийся в тумане, мокро блестевшие панели, черные витрины и запертые ворота; башня городской думы; Аничков мост; громадные зеркальные окна запертого, по-ночному печально освещенного магазина с восковыми красавцами-блондинами; стылый поток тумана, озаряемый светом электрических шаров, пронизанным мириадами капель, все это еще не отошло полуночи и жило своею жизнью. Отряхивали и складывали зонты посетители на крыльце Доминика, гуляли по панелям кокотки в дурной модной одежде, мчалась запряженная рысаком пролетка и зябко поднимал воротник шинели полицейский офицер, не помнивший столь ранней и холодной осени. На Гончарной адвокат огляделся по сторонам, пошел медленней и дружески взял полковника под руку.

— Вы понимаете, ваше превосходительство, — доверительно и немного устало, приноравливая шаг к шагу полковника, заговорил адвокат, — высокий Суд, как ни далек он от мира сего, в иных суждениях придерживается принципов *общечеловеческих*. Говоря вашим языком, откровенно консервативных взглядов, отзывающих прямо стариной! — Адвокат передернулся от отвращения, — Imperitia pro culpa habetur.[100] Одним словом, вы

понимаете… Мы будем доказывать, что вы ушли из жизни в одинадцатом году, они предъявят нам девятьсот пятнадцатый, и в чем-то, может быть, будут правы… Et tu n,as pas l,air de l,ignore[101] —промолвил он с ужасающей фамильярностью хлопнув полковника по плечу, и его короткий, дребезжащий смешок странно прозвучал в безмолвии петербургской окраины. — Ну, бросьте вы жечь меня взглядом! Я-то не делаю ничего, только вторю вашим мыслям, высказывая ваше же implicite[102] вашего же отношения к вашей несостоявшейся жизни. Фу, как вы обидчивы, полковник! И право, на что? Вы — мой клиент, я — ваш адвокат, все умрет между нами, слово honnete homme[103]! Разве что та или иная мерзкая, маленькая подробность, маленькая деталь вылезет на Суде — ну да ведь мы и не упираем на то, что вы святы! Мера вины, ваше превосходительство, последствия поступков, подсказанных racio, требованиями духа, волнением, тайными движениями души — что в нашем случае еще гаже, — сложив пальцы щепоткой, он поднес их к лицу полковника, — вот что, несчастный вы упрямец, станет puntum puncti[104] разбирательства! Мы будем ссылаться — на ваше происхождение, сословие, среду, время, в конце концов, натуру — мы спросим Их, много ли Они сделали, чтобы исправить природу, но приговор выносят Они, и, значит, последнее слово не за нами! А, вот и дождь перестал! — Он зачерпнул из жилетного кармана часы, медленно поднял к небу одутловатое, бледное лицо, хранившее отпечаток чего-то неотмирного, чекан древнего как время величия и терпения. — Луна сейчас выйдет, — пробормотал он, прикрыв глаза, запрокинув голову к беззвездной выси. — «Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь..» — зашептал он, и, неожиданно открыв глаза, застенчиво посмотрел на полковника. — Я, знаете ли, немного поэт, как все мы. Что ж, к делу, ваше превосходительство! — Он сильно и нервно потер маленькие руки и отступил от полковника, жестом приглашая следовать за собой. — Что la raison d'etat[105] всегда ставился выше личности в ваших степях и равнинах, факт доказанный; и что политика — грязь — clair comme le soleil[106], а война — c'est un incident soigneusement prepare,[107] но, безусловно, не для вас, не для офицера Генштаба, это мы понимаем и так. — Он ухватил полковника за рукав и зашагал рядом, оскальзываясь на расквашенной ливнем земле: — Правительства всегда кричат народам, что на них напали — c'est la guerre,[108] об обороне и патриотизме, алтарях и очагах, предпочитая sans yoir[109]; ваше имело наглость объявить, что протягивает *братскую руку помощи*! Оно еще не раз будет

протягивать *братскую руку*… Bien entendu[110], будущие поколения, в частности, ваши братья славяне, не будут питать ни малейших иллюзий относительно вашей *братской руки,* но сейчас это к делу не относится. Сейчас вам нужны Турция, Персия, Афганистан, главное — Турция. Прежде великороссы зарились на Константинополь, теперь этого недовольно, вам нужны Дарданеллы и Босфор, поскольку ваше зерно не идет через балтийские порты. Вас побили японцы, на Востоке вы заперты. Выход для вас — Ближний Восток, поскольку вы больше не конкуренты ни немцам, ни странам, торгующим на европейских рынках. С Персией и Афганистаном, надеюсь, понятно? Да, вы договорились с Англией — не прежде, чем японцы потопили ваш флот, к чему, конечно же, Англия приложила руку. С Францией вы — союзники, au reste,[111] зависите от франка: Жоффр, как и Дюбайль, диктует вашему Генеральному штабу планы ваших вооруженных сил, зато Френч в отношении вас не брал никаких обязательств о действиях на материке, они любят *присутствовать,* это в их духе…Соображаете? Теперь и им приходится кое-что предпринять. Франция отказалась от Египта, Англия признала за ней Марокко, c'est un rien…[112] Япония, ваш новый союзник, тоже имеет виды на германские колонии, в будущем — на Китай, а пока усиливается на Тихом океане; у румын с Австро-Венгрией конвенция, c'est joli,[113] маленький народец смотрит, кто больше даст; Сербия и Черногория с вами, но болгары, помня Балканскую войну, переговариваются с Германией. C'est du dernier ridicule, yous comprener?[114] Бельгия, наконец, забыла про свой нейтралитет, Швейцария и Норвегия — нейтральны, и, разумеется, тоже переговариваются с Германией. Испания, Швейцария, Голландия, Дания — тоже соблюдают нейтралитет, торгуясь налево и направо, и наживаясь, как жиды!

Comment dons![115] Турки — с немцами. Вы проморочили Енвер-пашу, иначе как бы вы на него напали? Зато Италия — с вами. Вы им пообещали Далмацию, Триест, Триен. Германии исторически не везло с союзниками. Ну, что за армия у Австро-Венгрии: мадьяры, цыгане, итальянцы, артиллеристов нет!..Что вы молчите, ваше превосходительство? Вам что, не интересна картина мировой войны после вашей кончины? Действительно, все отходит вечности: декреты Конвента, лазареты Семилетней войны — отходит прежде, чем хоронят погибших, но вы — вы поражаете меня, полковник! Наблюдая многих моих клиентов, я вывел, что они испытывают прямо-таки феноменальный интерес к близко обозримому будущему, к такому, с позволения сказать, *вздору,* как результат реформ, судьба общины, fin de siecle[116], причем, именно в свои жалкие последние минуты, когда им

пристало б думать о *вещах последних,* о себе. Будь вы, ваше превосходительство, homo ludans,[117]безбожником, веселым и безответственным существом, мы толковали бы о наслаждениях, женщинах, искусстве, но вы — христианин, военный дворянского происхождения, хотя, как каждый русский, о грехе имеете понятие своеобразнейшееe!

— Что это? — спросил полковник.

Он остановился, нелепый, в парадной шинели на алой подкладке, с посеребренной головой, в нижнем белье и войлочных домашних туфлях. Луна вышла из-за рваного края тучи; в ее неотмирном разреженном свете, вдоль столбов тянулись покорно и понуро низкорослые лошади, влачившие подводы и телеги, доверху нагруженные узлами и утварью; кутались в одеяла старики и лица женщин бледно отсвечивали во мраке; неподалеку мужчины выталкивали автомобиль из канавы, пинками сгоняли овец, и вопли роженицы разносились так, словно обрело голос людское горе.

— Как это «что»? — переспросил адвокат, пропуская крестьянина со швейной машиной на плече. — Беженцы, изволите видеть. Люди бегут — от Балтийского моря до Карпат, от Буковины до Силистрии. Это театр военных действий, ваше превосходительство, — адвокат говорил без улыбки. — Верстах в десяти железнодорожный узел, в данный момент его бомбят, страдает, конечно, население. Ковно, Плоцк, Кельцы, Перемышль были досадным образом населены, что совершенно неуместно в данных обстоятельствах! Тут вы не тревожьтесь: Суду мы укажем, что люди бегут во все времена, не дожидаясь, пока их дома сожгут, добро разграбят, женщин изнасилуют! Etat dans l'etat,[118] инстинкт, мешающий задаться вопросом стоит ли вообще жизнь затрачиваемых на нее усилий, им незнаком Шопенгауэр… — Не договорив, он наподдал ногой овце и, морщась, повернулся к полковнику, — Cela ne vaut pas un pet de lapin…![119] Слышите? — он повел папкой в направлении перелеска. — Наше место там, ваше превосходительство! Вы не забыли, что ночь коротка?

— Что-то происходит! — бормотал он быстро, приглушенно, помогая полковнику перейти канаву. — Вы бы быстрей, ваше превосходительство! Право, вам не понять чувств человека штатского — азарта, нетерпения, страха, не скрою, тайного восхищения приемами господ старших офицеров, словом, всего, что испытываешь перед крещением огнем! Где вам понять, ведь это ваше metier[120] — заглядывая полковнику в лицо, он приставал: — Вы помните ваш первый бой, ваше превосходительство? Можете мне сказать, почему при попадании пуля производит звук поцелуя? Почему лица мертвых так

умиротворены, им хорошо? — Внезапно он остановился посреди прогалины. — Да вы посмотрите, сколько их! — воскликнул, он озираясь, — Они пали за родину. Bien! Почему государство, посылая молодых людей на смерть, всегда называет себя родиной? Писатель, который задаст сей риторический вопрос, еще не родился; не родился, который ответит. — Он вскинул глаза на полковника. — Это Восточная Пруссия, ваше превосходительство, Йоханнесбургские леса, ваша вторая армия прошла восточнее. Изложить диспозицию или угодно поглядеть? — Не дожидаясь ответа, адвокат зашагал вперед, нахлестывая папкой траву, как мальчишка. Полковник пошел за ним, придерживая шинель у горла. Лес полого спускался к дороге, запруженной грузовиками и солдатами; лунные отблески мерцали на ружейных стволах, высвечивали башню бронемашины; рассыпавшись, пехота углублялась в лес; за поворотом рявкали минометы, били пулеметные очереди. — Маневр, — сухо сказал адвокат, — можете оценить, ваше превосходительство.

Полковник всмотрелся. С дальней стороны леса, где шел обстрел, земля комьями взлетала к небу, осколки с шипением прошивали листву.

— Это высокая трагедия, ваше превосходительство! — одернув жилет, возвестил адвокат. — Мужайтесь: вашей Второй Армии больше нет. Отдельные группы пытаются прорвать цепи германской пехоты, поддерживаемой артиллерией. Из окружения им не выйти. Так называемый «самсоновский котел». В данный момент семнадцать пехотных полков храбро гибнут под Яблокеном, Орлау, в Коммузинском лесу из-за бездарности вашего командования и по причинам, о которых нам предстоит говорить, поскольку они худо-хорошо свидетельствуют в нашу защиту. Русские, впрочем, разобьют завтра две ландверные бригады у Гросс-Бессау и Мюлена, ландверную дивизию Гольца, Третью резервную под Гогенштейном, Сорок Первую — под Ваплицем, Тридцать Седьмую — под Лана, Орлау, Франкенау, и еще Вторую пехотную под Уздау, но это ничего не изменит ни в поражении, ни в ходе войны, ни в истории. Да-с. Оставшаяся без командиров, пробирающаяся наугад в позиционных узостях между лесами и озерами, ваша пехота и дивизионная конница попадут под заградительный огонь на дорогах. *«Огненные клещи»,* так, кажется? Увы, они обречены. Тринадцатый, Пятнадцатый, Двадцатый корпусы — слишком высокая цена за то, что Ренненкампф дезориентировал Самсонова, а тот не послушался Жилинского! Самсонов оставил у себя в арьергарде Шестой корпус. C’est tout a fait a la Napoleon![121] Вы, помнится, были

близки одно время? Он застрелится. C'est noble![122] Будь вы на его месте, вы, несомненно, поступили бы также, n'est-ce pas?[123]

— Какой же ты все-таки мерзавец! — раздельно сказал полковник.

— Я? — поразился адвокат. Оскорбленным жестом он поправил запонку на воротничке, заложил папку за спину, и, вздернув бородку, заходил перед полковником. — C'est par trop fort![124] — неожиданно прокричал он в сторону леса. — Я ли завел вашу армию в западню и виноват в поражении! Вы ничего не понимаете, даром, что без пяти минут мертвы и подлежите Суду! Вы, сударь, вовсе ничего не поняли! Почем вам знать, возможно вы — виновник гибели тысяч людей не в меньшей степени, чем Самсонов? Что вы можете знать о конечности причины?

Ударил разрыв. Пламя метнулось между стволами, слева от них медленно валилось дерево; у адвоката выбило папку из рук, он побежал в темноту, ловя разлетевшиеся бумаги. Затем вернулся к полковнику.

— Знайте меру, ваше превосходительство, знайте меру, — заговорил он, отдуваясь, и раскладывая бумаги в папке. — У меня тоже есть для вас несколько слов, которым вы не обрадуетесь! Вы — genie mangue,[125] и это обидно в высшей степени. Там, понимаете ли, ошиблись эпохой и страной, но вот упоминать это Им не стоит. Им тоже известно, что было бы, принадлежи вы другой культурной эпохе. Вы помните ваши идеи о затяжном характере войны? Позиционная война, эшелонированная оборона с возможностью оперативного маневра, тяжелой артиллерии, авиации. Mais oui[126] вы пошли дальше Шлиффена, не говоря о ваших «военных теоретиках», но как вы думаете, это хорошо для Суда? Страшно подумать, что было бы, будь вы честолюбец или человек свиты! Вы знаете, что ваше счастье в том, что вы не продвинулись по службе? — Кончив возиться с бумагами, он прямо взглянул в лицо полковнику. — Вижу, вы начинаете понимать, — сказал он. — Тогда примите и то, что ваш charge d'affaires,[127] я менее всего намерен отравить вам последние минуты. Полно! Поглядим лучше, что мы сумеем поставить в вину Им, или, по крайней мере, оправдаться временем, частным правом, раз уж *другой эпохи у нас нет.*

Он тяжело сел на поваленное дерево, разложил папку на коленях и пригласительно похлопал по стволу, не обращая внимания на пробегавших солдат.

— Итак, — сказал он. — У нас тот случай, когда causa aequat effectu.[128] Мы, как обычно, построим защиту на том, что *виновны не вы один,* а там, глядишь, добьемся, чтобы установили вину

исключительно вашу: об оправдании речь мы не ведем. Бегло просмотрим доказательства, поглядим, что возможно возложить на ваше belle patrie.[129] Тут, ваше превосходительство, нам, как водится, будет, что сказать, и мы скажем: есть и бумаги, и люди, и свидетельства….. Да и как им не быть при таком, с позволения сказать, *размахе* вашего государя! Будем напирать на то, что вы — службист, верный присяге, тщились a bien merite de la patrie[130], хотя, конечно, *мысли, помыслы…* О, вы не знаете этих святош, но нам осталось недолго!.. Ну-с, поглядим. А.Ф. Редигер, бывший начальник Канцелярии Военного министерства, а затем военный министр пишет в своих воспоминаниях: «Во все царствование Александра III военным министром был Ванновский, все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Что это была вина самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей, неспособных и дряхлых, не увольняли, назначали по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигаясь по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда добирались до высших военных должностей, они уже мало чем отличались от окружающей массы посредственностей. Этой ужасной системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц как к концу царствования Александра III, так и во время японской войны.». Ваш государь, cet homme est fol,[131] у него на уме нерушимая чистота самодержавия, поддержка дворянству, русификация нерусских, вот, собственно, все. Никакого понятия о социальных, экономических и политических процессах дальнейшего развития государства. Реформы изволит называть *«бессмысленными мечтаниями»,* гимназии сокращает и обращает в реальные училища, вот и великий князь говорит: «Это что-то невероятное и *чудовищное».* Витте — в отставку, Столыпина — в могилу, что ж, chacun ses ses facultes[132], и при этом, заметим, странное сознание грядущего конца, конца кошмарного, тут вы мне поверьте! Вот, пока вы еще в должности, великий князь Николай Михайлович замечает: «Он всегда довольно мрачно смотрел на жизнь, настоящее положение России представляется ему роковым; он ожидает от ближайшего будущего чрезвычайных событий». Значение техники для армии не постигает, в разговоре с Куропаткиным по вопросам скорострельной стрельбы, замечает, что главное не техника, а человек, и *указывает на абиссинцев,* благо, народ для него chair au bonheur publie[133] Ну, разве такому бездарю может противостоять генерал Куропаткин со всеми его военными талантами?. Куропаткин — храбрец, но исполнитель, совершенно бессильный в области *мнений,* но ведь c'est l'opinion qui gouveme le monde[134], и у вас нет иного выхода, как c'est avoir

l’ esprit de son âge![135] Нам, выражаясь юридически, нужна causa fiendi,[136] вам ясно, ваше превосходительство? У нас на руках все казенные всеподданнейшие доклады; циркуляры о недопущении евреев в состав офицерского корпуса, ограничениях для поляков, эстонцев, шведов, армян; армией командуют бригадные генералы семидесяти лет, командиры бригад и полков, которым хорошо за шестьдесят; наконец, доклады Куропаткина о военных маневрах, в которых подтверждается, что «мы еще сильнее в обороне, *но сознательное наступление нам не часто удается».*

Резюмируя, мы объясним, что там, где не удается сознательное наступление и спорят о значении пулеметов, миллионные жертвы от вашего отечества предрешены; тут нам придется избежать causa criminalis,[137] поскольку вы-то *знали,* во что споры о пулеметах выльются через каких-нибудь лет десять, и даже не изволили ошибиться в сроках….

— Известно без тебя! — сказал полковник. Сгорбившись, он смотрел себе под ноги. — Я не страшусь никакого Суда. Не знаю, страшиться ли мне ада, раз я не имею оправданий!

— Напротив, имеете, — живо возразил адвокат. — Из чего, впрочем, не следует, что будете оправданы непременно. Так вы интересуетесь адом? Что ж, это другая *материя*… Если достанет времени, я исключительно из уважения к вам расскажу о назначении ада. Casse-cou[138], не правда ли? — дружески спросил он, когда снаряды стали ложиться ближе. — Боюсь, Ваше превосходительство, Вы не понимаете в полной мере, что происходит! Вы оставляете мир. Мое же дело показать Вам, каким Вы его оставляете, и что станется, когда вы оставите его! За это с Вас будут спрашивать, и устанавливать меру Вашей вины и ответственности. Не можете же вы не знать, в чем, собственно, виноваты? Мир втянут в войну, но вы-то человек не сторонний! Какой театр действий предпочитаете, какой фронт, какой год? Может быть, небольшое морское сражение — в сравнении со сражением у Доггер-Банки и действиями в Дарданеллах сущий пустяк? Пройдемте, ваше превосходительство!

Адвокат торопился. Отвратительно штатский, деловитый, он семенил впереди со своей папкой; полковник старался не отстать; леса сменяли поля и перелески, рытвины и дороги, по которым двигалась техника, маршировали роты, шли нескончаемые толпы беженцев и небо озарялось пламенем пожарищ; били орудия; оба шли через окопы и железнодорожные пути; через артиллерийские батареи и инженерные укрепления; казалось, мир обретал новый, непознанный доселе смысл, *новый порядок жизни,* где сосуществовали и грязь и смерть и разгул прифронтовых городов. На берегу адвокат остановился, и, по обыкновению взяв

полковника за рукав, широким жестом повел папкой вдоль пролива.

— Изволите видеть, — начал он тоном гида, — бой у Борланда, он войдет в историю так! Ваша эскадра из четырех крейсеров выслана в набег для бомбардировки Мемеля. Тот остров и есть Борланд. Вон те два крейсера принадлежат германскому балтийскому отряду. Видите, один уходит. Второй… — Он не договорил. Крейсер горел, стремительно двигаясь к берегу. Огонь был виден на палубных настройках, люди метались как муравьи по горящей головне; но обстрел продолжался, вдалеке вспыхивали залпы невидимых орудий, при каждом в попадании листы железа взлетали в воздух, кружась, как сгоревшая бумага, и обрушивались в в отблески пламени на воде, пока, наконец, факелом горевший корабль не выбросился на берег в миле от них и медленно завалился на бок. Завороженный, расширившимися глазами, смотрел адвокат, как к берегу вплавь добираются уцелевшие матросы. Внезапно, побледнев от бешенства, он задрал голову и закричал фальцетом нависшему ночному небу: — Вы не смеете вменять ему это в вину! Мы не имеем к этому никакого отношения! Полковник не может за это отвечать! — И, с той же жутковатой внезапностью, которой трудно было ожидать в этом коротком полном теле, оборотился к полковнику. — Или может? — спросил он полковника вкрадчиво, обращаясь скорее к себе. — Пойдемте, ваше превосходительство! — сказал он, помолчав.

— Куда? — пожал плечами полковник. — И зачем?

— А куда скажите, — раздраженно сказал адвокат. — Этот cascade[139] не знает национальных границ и унесет тридцать миллионов жизней. До полночи еще есть время. Мы можем побывать в прелюбопытнейших местах: на Соме, Марне, под Мукденом; вы сможете увидеть, как немцы, французы, англичане бросают в бой по двести двенадцать дивизий! — В разреженном свете ночи он шел, не разбирая пути.

— Cela revient au même, ce sont les hommes en définitive qui font l'histoire,[140] а потом спрашивают, где же был Он и как Он допустил до этого! — Утомившись, он сел на колесо орудия, и задумчиво оглядел полковника. — Знаете, ваше превосходительство, сколько людей — политики любят считать на миллионы chair a cannon,[141] не так ли? — погибнет так или иначе, прежде, чем история перестанет быть историей *политики* — историей злодеяний — и интересы личности, наконец, возобладают над государственными, как тому положено быть? Вашему писателю-графу принадлежит высказывание, что *«жизнь идет по мосту из трупов»*? Что ж, он не так уж неправ, ваш граф.

Трупы, — он повел рукой окрест, — наличествуют! Мир не придает значения ужасу индивидуальной смерти, низводя ее до атрибута жизни. Вонь лазаретов, вопли раненных — не сохраниться в памяти поколений. А есть ли нечто со времени Голгофы, перед чем могут остановиться в прозрении, вняв проповеди любви, измениться, что знаменовало бы *другую историю.* Но до чего банальная мысль! Какое счастье, что вы — не идеолог! Просто не верится, что вы будете героизировать этот ужас, лишь бы предать ему смысл!

— Ты, кажется, собирался рассказать о назначении ада, — полковник смотрел на адвоката с нескрываемым презрением.

— Не беспокойтесь, полковник, я помню. Скажите, вы любите Париж?

— Ты ли не знаешь, что я не был в Париже!

— Да, очень жаль. Меня, по правде, то же манят Champs Elysees,[142] хотя с нашей прогулкой туда мы тоже торопим события, — Он снова поднялся и пошел вперед, вертя папкой над головой. — Париж, Париж! Как я имел удовольствие доложить вам, мы забегаем вперед, но к Суду и это будет иметь отношение, как каждая ошибка молодости, неосторожный роман, вы после так и не женились, полковник?

Полковник не ответил. Как тени, они двигались теперь среди толпы и газовых фонарей; то был Монмартр, русский ресторан, и тапер в белой рубашке, с упавшей на лоб смоляной челкой и стаканом красного вина на пианино так походил на полковника, что того бросило в жар. Адвокат, ставший рядом, положил ему руку на плечо и говорил ему, прильнувшему к стеклу, дружески, проникновенно: — Это ваш сын, да, да! Не беспокойтесь, он не алкоголик. Он, как и вы, бывший офицер, кокаинист, но проживет долго, женится на деньгах, и в старости как кошмарный сон будет вспоминать гражданскую войну и эту вашу отчизну, но вас, ваше превосходительство, не это должно занимать! Вы ведь хотели узнать назначение ада? Ну-с, коротко говоря, вы не забыли эдемское проклятие? Вам было дано различие добра и зла, причем дано, как проклятие, вспоминаете? Мы обладаем им от времен сотворения мира; вы только познали *различие,* то есть существование добра и зла. В нашем несовершенном мире, увы, вы познаете добро по мере его утраты, в итоге полностью осознавая, что есть добро в обособленном мире абсолютного зла, когда ничто невозможно изменить. Ад и есть вечное пребывание в полноте *сознания и бессилия.* Как это просто, не правда ли? Не плачьте, ни к чему! Ведь вы — храбрец, а я всегда любил храбрых! Вам в утешение скажу, что в этом состоянии мы пребываем долгие века — и не известно, чье проклятие тяжелее. Друг мой,

несите его с достоинством!

Били часы. Оба вернулись на Немецкую улицу, в особняк, где адвокат заботливо повесил в шкаф парадную шинель полковника.

— Ваше превосходительство, — сказал адвокат, — к несчастью, я должен отлучиться. Вы не единственный мой клиент на эту ночь. Вы можете довериться мне. Я сделаю все, что в моих силах!

Он повернулся к выходу, но полковник, хрипя, протянулся за ним.

— Погоди! — прокричал он. — Ты не сказал мне главного! Пусть ад таков, как ты говоришь, но каков же твой рай, ты ничего не сказал мне о рае?

Адвокат приостановился в дверях и поднял плечи жестом величайшего недоумения.

— Я думал, вы поняли, полковник. Рай уже был. Рай — это ваше неведение. Теперь Они считают его наказуемым. Там больше не прощают тех, кто не ведают, что творят!

Об авторе

ДАШЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЛЬВОВИЧ

Родился в Харькове, Украина.

Окончил Харьковский Инженерно-строительный институт и Всесоюзный Литературный институт им. Горького в Москве.

В двадцать три года дебютировал в журнале «Юность» рассказом «Инцидент», издал первую книгу в издательстве «Молодая гвардия» тиражом 100 000 экз. Рекомендован Секретариатом Правления СП СССР в члены СП СССР. Рекомендантами были Григорий Бакланов, Владимир Маканин, другие известные писатели, но за отказ сотрудничать с КГБ в Харькове не был принят.

Повесть «Чистая вода» переиздавалась в сборнике «Поколение. Повести и рассказы молодых русских советских писателей». Рассказы «Инцидент» и «Долгий год» экранизированы на Мосфильме. С 1984 г, — 1989 гг. руководил секцией прозы Комитета литераторов при Литфонде СССР, защищал права молодых писателей, работал специальным корреспондентом журналов «СМЕНА», «ДРУЖБА НАРОДОВ» и других, литконсультантом в Литературной консультации СП СССР.

В 1989 году создал первое в стране Всесоюзное общественно-политическое обозрение «ОРИЕНТИР ДИП» (Харьков-Москва), издаваемое АПН СССР, в редколлегию которого вошли Е. Евтушенко, видные депутаты ВС СССР, Вице-президент Украины В. Еринев, а также информационное агентство, работавшее российские и зарубежные СМИ, на 16 посольств ключевых стран мира, руководил конверсионными проектами, был в США; в Пентагоне, Сенате, Конгрессе, сопровождал выборы Президента Л. Кравчука в Украине, Президента Б. Ельцина в Москве, награжден его персональной благодарностью.

Был загранпредставителем АПН СССР в Украине, Еенеральным менеджером РТВ-Пресс РФ, Еенеральным менеджером медиа-проектов Союза экспортеров энергии РФ, менеджером журнала «ОЕОНЕК». Руководил в Украине проектом национального издания и тремя проектами, поддерживаемыми Всемирным Банком.

Специалист Минфина РФ 1 категории ценным бумагам и фондовому рынку.

С 1996 г. — топ-менеджер в строительно-инвестиционном бизнесе (девелопмент) в Москве. Руководитель крупных и крупнейших проектов.

Член Международного Пен-Клуба.

Печатается в США и Израиле.

notes

Примечания

1

Эрвин Олаф (нидерл. Erwin Olaf Springveld) — известный голландский фотограф. Выставлялся в Европе, США, Канаде, Китае. Лауреат престижных международных премий в области рекламы и изобразительного искусства Работы часто откровенно провокационны. Таковы серии «Royal Blood» («Королевская кровь», 2000) и «Mature» («Зрелость», 1999) — портреты известных топ— и фотомоделей, какими они якобы будут спустя лет 40–50 (конечно, на самом деле это актрисы), все в тех же игривых позах и максимально открытых нарядах.

bourgeois bohemian, фр. — русский богемная буржуазия.

3

Синопсис — латинский синоним «conspectus» (конспект). Максимально краткое изложение съемки.

4

Руслан Лобанов — мастер современной эротической фотографии, Украина, Киев. Фотограф с мировым именем.

5

Ходос Эдуард Давидович — писатель и публицист, украинский общественный деятель, в прошлом глава еврейской общины в Харькове. Получил известность благодаря провокационным изданиям антисемитской и антиизраильской направленности в духе измышлений традиционного дореволюционного антисемитизма, антисемитской «конспирологии», разоблачений еврейских заговоров

Полянке и Крымском Валу — улицы Москвы.

7

«Печору», «Ангару», «Метелицу» — названия кафе на бывшем Калининском проспекте (ныне Новый Арбат) в г. Москва, перестроенных под казино в годы перестройки. 1991–1992 гг.

8

Харьковская хоральная синагога, архитектурный стиль неоготика, мусульманский стиль, крупнейшая на Украине и в СНГ и вторая по величине в Европе после будапештской. Еврейское название — Бейт Менахем, центральная синагога и архитектурный памятник в Харькове, возведена в 1912–1913 годы, была закрыта в 1923 году «по просьбам еврейских трудящихся». В ней разместили «Еврейский рабочий клуб имени Третьего Интернационала», с 1941 г. — детский кинотеатр. В 1945 г. в синагоге возобновляется деятельность еврейской общины, однако в 1949 г. её закрывают и по осень 1991 г. в здании находилось Добровольное спортивное общество (ДСО) «Спартак».

9

Осада Мостара, Боснийская война. Мостар (боен. Mostar, серб. Мостар, хорв. Mostar) — город и община в Боснии и Герцеговине, административный центр Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины 18 ноября 1991 г. филиал Хорватского демократического содружества (ХДС) в Боснии и Герцеговине провозгласил существование хорватской республики Герцег-Босна на территории Боснии и Герцеговины. Мостар был разделен на западную часть, в которой доминировали хорватские силы, и восточную часть, где было сосредоточена армии Республики Боснии и Герцеговины. 9 мая 1993 года Хорватский совет обороны (ХСО) атаковал Мостар с использованием артиллерии, минометов, тяжелых вооружений и стрелкового оружия, город был окружён хорватскими войсками в течение девяти месяцев, большая часть исторических сооружений была уничтожена артиллерией. Силы ХСО изгнали тысячи боснийцев с западной стороны в восточную часть города, участвовали в массовых расстрелах, этнических чистках и изнасилованиях в западном Мостаре и его окрестностях. Кампания ХСО привела к тысячам раненых и убитых.

10

«Крыша Мира» — жилой дом в Харькове по адресу Театральный переулок 6, был построен в 1910 году. Он был жилым до 1980 г., после пожара жильцы были выселены. До революции в этом доме проживали состоятельные граждане. Харьковчане называют это здание «Крышей мира», так как с него хорошо виден город. О страшном здании с обвалившимися окнами и жуткими фигурами в виде голов животных ходило много легенд.

11

Лайтбокс (световой бокс, англ. lightbox) — источник света с большой поверхностью, входит вместе с рассеивателями, зонтами, экранами и т. д. в оборудование фотостудий, используется в фотосессиях.

12

Аэропорт Schiphol — аэропорт Амстердама.

13

Отрывок из стихотворения раннего И. Бродского «Кто-то должен любить некрасивых».

14

Журавлевка, Журавлевская слобода. Бывший хутор, затем пригородная слобода вдоль поймы реки Харьков.

15

Грегори Кольбер (англ. Gregory Colbert; род. 1960, Торонто, Канада) — кинематографист и фотограф, известен главным образом как создатель выставки художественных фотографий и фильмов «Пепел и снег» (англ. Ashes and Snow), которая демонстрируется в «Кочующем музее» (англ. Nomadic Museum).

16

Жалюзи-ставни из алюминия.

17

Рав Кахане, Меир Давид (ивр. 1) (d — ª II в ª августа 1932, Бруклин, Нью-Йорк — 5 ноября 1990, Нью-Йорк, США) — американский и израильский общественный, политический и религиозный деятель, депутат Кнессета 11-го созыва, публицист, еврейский националист. Приобрёл известность как лидер «Лиги защиты евреев», основанной им в 1968 году для защиты еврейского населения бедных кварталов Нью-Йорка. В 1971 году Кахане совершил алию в Израиль, где безуспешно участвовал в выборах в Кнессет. В 1990 году Меир Кахане был убит в Нью-Йорке в результате теракта, совершённого египетским арабом. На похороны Кахане в Иерусалиме пришло, по разным оценкам, от двадцати до пятидесяти тысяч человек; позже был убит его сын. В 1994 году партия «Ках» и отколовшаяся от неё фракция «Кахане Хай» были запрещены в Израиле. В настоящее время обе эти организации признаны террористическими в Израиле, США, ЕС и Канаде.

18

Цитата из книги М. Кахане «Еврейская идея», Глава «Ярмо Неба».

19

Иронический перифраз цитаты из М. Кахане «Еврейская идея»: «Весь мир был создан только ради Торы».

20

Кондиционер, ивритизм.

21

Американские нигилисты Б. Блэк «Упразднение работы», Д. Зернан

22

Эффект бутылочного горлышка — сокращение генофонда (т. е. генетического разнообразия) популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение её численности, в дальнейшем восстановленное. Ашкенази (ивр. אשכנזים, ашкеназим; ед. ч. ашкенази) — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Среди ашкеназов заметно повышен риск целого ряда генетических заболеваний.

23

Семь законов потомков Ноя или Семь заповедей потомков Ноя (ивр. שֶׁבַע מִצְוֹת בְּנֵי נֹחַ, шева мицвот бнэй Ноах) или Ноев Завет — семь заповедей, считающихся, согласно иудаизму, необходимым минимумом возложенным Торой на всё человечество. Четвертая заповедь — запрет кровопролития, запрещающий, в частности, как преднамеренное убийство, а также — самоубийство, духовное убийство, пролитие семени и т. д.

24

Кедронская долина— долина, ограничивающая Старый город Иерусалима с востока и отделяющая Храмовую гору от Елеонской, многократно упоминается в Библии. Согласно христианской эсхатологии, в долине будет проходить Страшный суд. Новый Завет свидетельствует, что Христос много раз проходил по долине из Вифании в Иерусалим и обратно. Долина известна своими кладбищами, в ней расположены гробница Авессалома, сына царя Давида сыновей Хезира, Захарии и Иосафата, а также многие христианские святые места, в том числе гробница Богородицы и апостола Иакова.

25

Масада́ (ивр. מצדה, мецада — «крепость») — древняя крепость у юго-западного побережья Мёртвого моря, в Израиле. Гамла (Гамала, ивр. גַּמְלָא) — древний еврейский город в Эрец-Исраэль, в переводе с иврита «горб верблюда») была расположена на возвышенности Голанских высот. В Иудейскую войну крепость и город стали оплотами восставших иудеев, оказавших героическое сопротивление римским легионам и покончивших с собой, чтобы не попасть в руки римлян.

26

Четвёртая арабо-израильская война («война Судного дня», Октябрьская война) — военный конфликт между рядом арабских стран, с одной стороны, и Израилем, с другой. Началась 6 октября 1973 года с нападения Египта и Сирии и завершилась через 18 дней их поражением.

27

Теодор Герцль. «Еврейское государство».

28

Ви́а Долоро́за (лат. Via Dolorosa, букв. «Путь Скорби») — улица в Старом городе Иерусалима, по которой, как считается, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.

29

Перифраз цитаты из книги М. Кахане «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев».

30

Натан Штраус (нем. Nathan Straus, 31 января 1848 — 11 января 1931) — американский промышленник, филантроп, гуманист, благотворитель. Им были открыты детские медицинские центры в Тель-Авиве и Иерусалиме. Имя Натана Штрауса с 1927 года носит Натания — город в Израиле, крупнейший курорт средиземноморского побережья.

31

В 1928 г. Еврейский национальный фонд приобрел земли в арабской деревне Ум Халед для основания здесь поселения. Основателями были молодые члены организации Бней-Биньямин из Кфар-Тавор, выходцы из Восточной Европы, которые прибыли в эти края для создания мошава (сельскохозяйственного поселения). Во главе их был Овед Бен-Амми, впоследствии ставший мэром Нетании (1930-70).

32

Creedence — Creedence Clearwater Revival (сокращённо CCR, часто Creedence) — американская рок-группа, образовавшаяся в 1967 году и за пять лет существования добившаяся всемирного успеха и признания критиками. Deep Purple — Deep Purple ([di: p pз:(j). pal]) — британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в «тяжёлой музыке».

33

Бенилюкс (Benelux) — субрегиональная межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя три монархии: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Имеет сухопутные границы с Францией и Германией, является одним из наиболее заселенных районов мира.

34

Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (араб. (Р— 16 июня 1929) — эмир Кувейта, глава династии ас-Сабах. За первый год своего нахождения у власти Сабах ас-Сабах провел ряд демократических реформ, в частности позволил женщинам занимать посты в государственном аппарате, дал им право голоса, смягчил закон о запрете публичных собраний и закон о СМИ. В то же время он увеличил издержки на содержание королевской семьи в 6 раз. Состояние: £9 млрд ($14,22 млрд). Ежегодная «стипендия» шейха Сабаха, складывающаяся из его доли доходов от продажи нефти — $188 млн, и именно эти выплаты являются основой состояния кувейтского монарха.

35

idees fixes — фр., термин, обозначающий навязчивую идею. Идея, которой кто-то твердо придерживается без рациональной рефлексии.

lux ex tenebris — свет во тьме, лат.

je ne sais quoi — чего-то такого, фр.

38

Жорж Дюмениль де Латур, также Ла Тур (фр. Georges de La Tour; 14 марта 1593 — 30 января 1652) — лотарингский живописец, крупнейший караваджист XVII века, мастер светотени. Для его картин характерна геометрически строгая композиция и напряжённость религиозного чувства. Картины Латура обычно представляют собой освещённые пламенем свечи ночные сцены, написанные в манере Караваджо.

homme de lettres — литератора, человека от литературы, фр.

40

Джайнизм — древняя дхармическая религия, появившаяся в Индии приблизительно в IX–VI веках до н. э.; согласно самому учению, джайнизм существовал всегда. Джайнизм проповедует ненанесение вреда всем живым существам в этом мире. Философия и практика джайнизма основаны, в первую очередь, на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства

41

jolis riens — маленькие пустяки, фр.

epoche — посвящен, воспринимающий мир как феномен, экзистенциален — термин экзистенциализма.

С помощью объявленного принципа Гуссерль (Гуссерль, Эдмунд (Husserl, Edmund) (1859–1938), немецкий философ, основатель феноменологии как философского движения. Обосновал феноменологию как строгую науку. Zu den Sachen selbst («Обратимся к вещам») — ставит целью найти прочную и несомненную опору для нового здания философии. Ее методом призван стать метод epoche (греч.: остановка в суждении). Хотя термин «эпохе» напоминает сомнение скептиков и картезианцев, все же его следует понимать несколько иначе.

avec sa mine de grisette — с манерой гризетки, фр.

ad continuandum tormenta — к продолжению пытки, лат.

consilium abeundi — совет уйти, лат.

passion — пассия, фр.

engage — приглашен, завербован, фр. экзистенциализм

l'homme moyen sensuel — чувственная посредственность, фр.

49

Престидижитатор — (франц. prestidigitateur), букв.: человек с очень быстрыми пальцами (книжн.). Фокусник с большой быстротой и ловкостью рук.

сон, в котором она, якобы, явилась Менделееву, в научной мифологии занимает столь же почетное место как яблоко Ньютона или ванна Архимеда. Сам Менделеев этого сновидения не отрицал, однако рассказывал, что увидел эту таблицу после того, как не спал несколько ночей подряд, пытаясь изложить на бумаге уже сформировавшиеся представления. Не менее удивительным было открытие немецким химиком Ф. Кекуле бензольного кольца. Сон ученого начался с общепринятых в то время химических представлений. Он увидел длинные линейные цепочки атомных связей: цепочки двигались, часто сближались друг с другом, извивались как змеи. «Но что это! Одна из змей ухватила свой собственный хвост, и фигура эта насмешливо закружилась перед глазами. Пробужденный как вспышкой молнии, я провел остаток ночи за разработкой следствий новой гипотезы». «Кубла-хан, или Видение во сне» (англ. Kubla Khan, or A Vision in a Dream) (правильнее: Хан Хубилай, или Сновидение) — поэма Сэмюэла Тейлора Кольриджа, которую он начал сочинять в 1797 году. Поэма осталась незавершённой; опубликована в 1816 г.

51

Гимн Кэдмона — гимн на древнеанглийском языке, приписываемый поэту Кэдмону (Casdmon), жившему в VII в.

52

Корнелий Тацит. Анналы. Книга XV. 70.

53

Анналы XVI, 18–20. 22. с точки зрения вечности, лат.

54

С точки зрения вечности (лат.)

черный орел. (лат.)

56

А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». Глава вторая. 42

Там же, 43.

литературный шедевр, фр.

59

«Кармен» П. Мериме.

60

Дивинаторный способ понимания произведения (автора) сформулирован Ф. Шлеймахером в работах о герменевтике. (Герменевтика (др. — греч. сррпу£ит1кп — «искусство толкования», от sppnvsuco — «толкую», искусство толкования, теория интерпретации и понимания текстов, в том числе, текстов классической древности, библейских); направление в философии XX века, выросшее на основе теории интерпретации литературных текстов

61

Опоясывающая (охватная, кольцевая) рифма рифмовка, по расположению рифмующихся стихов соответствующая схеме: абба.

до смертельного исхода, фр

любимая, фр.

64

Цитата из «Пушкин» Л.П. Гроссмана, полностью: «Такова была горсточка людей, провожавшая Пушкина в могилу: почти никого из столичных властей, но зато верный „Савельич“ — Никита Козлов, сопровождавший его по жизненным дорогам от колыбели на Немецкой улице до Святогорского погоста; старый друг, определявший его в лицей, хлопотавший за него в годы ссылки, посылавший ему из чужих краев античные вазы и современную хронику Парижа; две девушки из Тригорского, для которых со временем этот снеговой холм будет связан с бессмертными стихами: „Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых…“; и, наконец, несколько псковских крепостных, словно посланных к могиле убитого поэта тем подневольным народом, который своими сказаниями обогатил его творчество и навсегда принимал теперь в свою память имя Пушкина, чтоб донести его до далекой, но неизбежной эпохи своего освобождения».

65

Александр Александрович Бестужев 23 октября [3 ноября] 1797, Санкт-Петербург — 7 [19] июня 1837, форт Святого Духа, ныне микрорайон Адлер города Сочи) — русский писатель-байронист, критик, публицист эпохи романтизма, происходивший из рода Бестужевых. Печатался под псевдонимом Марлйнский. Декабрист. За участие в заговоре декабристов 1825 был сослан в Якутск, а оттуда в 1829 переведён на Кавказ солдатом. Участвуя здесь во многих сражениях, он получил чин унтер-офицера и георгиевский крест, а затем был произведён и в прапорщики. Погиб в стычке с горцами, в лесу, на мысе Адлере; тело не найдено. Письмо написано в Тифлисе 23 февраля 1837, накануне гибели.

dessous — п. изнанка, дно, закулисный: закулисная сторона, нижний: нижнее белье (дамское). Здесь: к закулисной стороне.

67

Мигель де Унамуно-и-Хуго (исп. Miguel de Unamuno y Jugo; 29 сентября 1864, Бильбао — 31 декабря 1936, Саламанка) — испанский философ, писатель, общественный деятель, крупнейшая фигура «поколения 98 года». В статье «„Лаборатория смерти“ Мигеля де Унамуно». Журнал «Вопросы философии». Изотова И.С. 06.09.2011 г. автор точно характеризует творчество Мигеля де-Унамуно: «Главная черта творчества знаменитого испанского философа М. Унамуно — „невозможность сколько-нибудь явно отделить его „философию“ от его же личных переживаний как писателя и поэта“, ибо „все аспекты его творчества взаимно ограничивают друг друга, перетекают друг в друга и дополняют друг друга“ (Темпельман де Бустиндуй 1986, 23). Поэтому исследователи обращаются к его литературному наследию не менее часто, чем к „чисто философским“ произведениям. При этом новеллы Унамуно — это настоящие рассадники смерти, а все литературное творчество Дона Мигеля с легкой руки С. Серрано Понсела названо не иначе, как лабораторией смерти [Чейтей 2004, 58]».

гандикап — здесь: скачки и бега, в которых участвуют лошади различных возрастов и достоинств.

complicite morale — нравственное соучастие, лат.

fausse reconnaissance — ложное узнавание, лат.

comme il faut — порядочно, фр.

historia morbi — история болезни, лат.

passionnel — страсти, фр.

fleur d elegance— верх изящества, фр.

compagnons d'infortune — товарищи по несчастью, фр.

habitue — завсегдатай, фр.

eh bien — ну что ж, фр.

demi-mondaine — дамы полусвета, фр.

faute de mieux — за неимением лучшего, фр.

80

Non fui. Sum. Fux. Non sum — Меня не было. Я есть. Я был. Меня нет. лат.

81

«Кабинет сей был та самая комната, из которой пять дней тому назад император Александр I изволил меня отправить». Пикантность этой ситуации — ставить условия в бывшей ставке своего царя — очевидна и Балашову и Бонапарту: «Я не знаю Барклая де Толли, но, судя по началу компании, я должен думать, что у него военного таланта немного. Никогда ни одна из наших войн не начиналась при таком беспорядке… Сколько складов сожжено и почему? Не следовало их устраивать или их следовало употребить согласно их назначению. Неужели у вас предполагали, что я пришел посмотреть на Неман, но не перейду через него? И вам не стыдно? Со времени Петра I, с того времени, как Россия — европейская держава, никогда ни один враг не проникал в ваши пределы, а вот я Вильне, я завоевал целую провинцию без боя. Уж хотя бы из уважения к вашему императору, который два месяца жил в Вильне со своей главной квартирой, вы должны были бы ее защищать!». Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. Глава II. От вторжения Наполеона до начала наступления Великой армии на Смоленск.

82

«Он вышел в люди при Павле, который сделал его министром, в первые десять лет царствования Александра был в отставке, в 1810 году стал камергером, а в 1812 году — московским „главнокомандующим“. Это был человек быстрого и недисциплинированного ума, остряк (не всегда удачный), крикливый балагур, фанфарон, самолюбивый и самоуверенный, без особых способностей и призвания к чему бы то ни было. Когда нашествие Наполеона стало явственно угрожать Москве, Ростопчин взял на себя роль своеобразного демагога-патриота. Он стал издавать особые „афишки“, которые разносились, рассылались и развешивались на улицах. Писал он эти афишки бойким языком с лишними мнимо народными вывертами.». Там же, Глава VI. Пожар Москвы.

83

В 1811 году Леппих предлагал свой шар в Париже Наполеону, но тот лично приказал выслать его вон за пределы Франции.

84

Ростопчин в своих записках комментирует это следующим образом: «Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен Сенатом к смертной казни и должен понести ее, — и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова. Тогда, обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитвы, я сказал ему: „Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству“. Я провел его к воротам и подал знак народу, чтобы пропустили его. Толпа раздвинулась, и Мутон пустился опрометью бежать, не обращая на себя ничьего внимания, хотя заметить его было бы можно: он бежал в поношенном своем сюртучишке, испачканном белой краской, простоволосый и с молитвенником в руках. Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться тем, что прошло. Глаза закрывались, чтобы не видеть ужасной действительности, и приходилось отступать назад перед страшной будущностью». Ростопчин Ф.В. Записки о 1812 годе.

Плотин, Эннеады III. 7. О Времени и вечности

Например, в разговоре с Тутомлиным восемнадцатого сентября: «Я желал бы поступить с Вашим городом, как я поступал с Веной и Берлином, которые и поныне не разрушены; но россияне, оставившие сей город почти пустым, сделали беспримерное дело. Они сами хотели предать пламени свою столицу и, чтобы причинить мне временное зло, разрушили созидание многих веков… Я никогда подобным образом не воевал. Воины мои умеют сражаться, но не жгут. От самого Смоленска я более ничего не находил, как пепел». Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. Глава VIII. Тарутино и уход Наполеона из Москвы. ГПБ, рукописи, отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 10. Бумаги, отбитые у французов. Иван Тутолмин — Александру I, 7 сентября 1812

небольшая прогулка, фр.

это ужасно, фр.

как поступить, фр.

90

Мы настаиваем, не правда ли? persistance — стойкость, непоколебимость, фр. Игра слов.

mais oui (фр.) — ну да.

что угодно принцепсу, то имеет силу закона, лат.

царские отличия, лат.

оборудование неговорящее, бессловесный скот. лат.

карьерист, честолюбец, фр.

проклятого поэта, фр.

хорошо, фр.

возлюби ближнего своего как самого себя, бук. Я сам себе самый близкий, ближний, лат.

идем! пошли! вперед! фр.

незнание вменяется в вину, лат.

101

И Вы не можете этого не знать, фр.

(лат.) — собственно «запутанно», употребляется для обозначения того, что нечто само собой подразумевается включенным в другое.

порядочного человека, фр.

причиной причин, лат.

государственный интерес, фр.

ясно, как солнце, фр.

старательно подготовленная «неожиданность», фр.

война есть война, фр.

ставки в темную, фр.

разумеется, фр.

впрочем, фр.

это пустяк, фр.

113

это мило, фр.

это просто смешно, вы не находите? фр.

115

Еще бы! фр.

конец света, фр.

человек играющий, лат.

естественное состояние, фр.

119

Выеденного яйца не стоит! фр.

профессия, фр.

121

Совсем по-наполеоновски! фр.

это благородно, фр.

не правда ли? фр.

это уже слишком! фр.

неудавшийся гений, фр.

ну да, верно, фр.

поверенный в делах, фр.

причина равна следствию, лат.

прекрасное отечество., фр.

заслужить благодарность отечества, фр.

это сумасшедший, фр.

каждому по способностям, фр.

мясо общественного благополучия, фр.

мир управляется мнениями, фр.

идти в ногу с веком, фр.

всеобщая причинная связь, лат.

повода к обвинению, фр.

хорошенькое местечко, фр.

жанр оперетты, фр.

все сводится к одному и тому же, в конечном счете, историю творят люди, фр.

пушечное мясо, фр.

142

Елисейские поля, фр.